



ЖИЗНЬ ДАНТЕ



Перевод Э. Линецкой

*Начинается рассказ
о происхождении, жизни, трудах и обыкновениях
прославленного мужа Данте Алигьери, знаменитого
флорентийского поэта, и о творениях, им созданных*

I. ВСТУПЛЕНИЕ

Солон, чье сердце уподобляли рукотворному храму перукотворной мудрости, чьи священнейшие закопы и поныне неопровержимо свидетельствуют о справедливости древнего правосудия, — так вот, Солон, как утверждают некоторые, любил повторять, что государство, подобно нам, людям, ходит и стоит на двух ногах, и всякий раз с глубоким убеждением добавлял, что правая нога — это обыкновение неуклонно карать всякую провинность, а левая — столь же неуклонно награждать любое доброе деяние; и еще он говорил, что если в государстве по злоумышлению или нерадивости нарушают либо не всегда соблюдают одно из этих правил, оно вскорости неизбежно охромсет, а если там, на горе себе, пренебрегают обоими, то и вовсе обезпожит. В согласии с этим достохвальным и умнейшим советом многие славные народы древнего мира чествовали достойных своих граждан по их заслугам: кого — причислением к сонму богов, кого — мраморной статуей, многих — торжественным погребением, тех — триумфальными арками, других — лавровыми ветками; что же до наказаний, которым подвергали виновных, у меня нет охоты о них распространяться.

Таким путем, награждая и наказуя, Ассирия, Македония, Греция и накопец Рим все ширились и ширились,

пока владения их не достигли рубежей земли, а слава — вышних звезд. Меж тем нынешние их наследники, особенно мои флорентийцы, не только не следуют высокому примеру предков, но так им пренебрегают, что все награды за добродетель присваивает честолюбие, поэтому может ли у меня, да и у всякого, кто наделен здравым смыслом, не скорбеть душа при виде того, как возводят в высокий сан злодеев и распутников, как назначают их на почетнейшие должности и осыпают наградами, а добродетельных изгоняют, порочат, уничтожают? Какова будет кара божия вершителям этих преступлений — забота не наша, людей малоприметных, плывущих, куда их гонит судьба, и подобным беззакониям неучастным, а тех, кто стоит у кормила этого корабля. Хотя я мог бы подкрепить свои слова множеством всем известных примеров неблагодарности и постыдного попустительства, но, дабы не слишком выставлять на всеобщее обозрение наши пороки и быстрее перейти к предмету моего повествования, мне довольно рассказать об одном только случае — правда, не мелком, не пустячном, — а именно об изгнании прославленного мужа Данте Алигьери. Чего был достоин этот ископный флорентинец, отпрыск почтенного семейства, равно блиставший и добродетелями, и обширными познаниями, оказавший Флоренции значительные услуги, о том гласят и будут гласить его свершения, и, несомненно, в государстве поистине справедливом он заслужил бы высочайших почестей.

Какое подлое злоумышление, какое постыдное дело, какой убийственный пример, какое непреложное доказательство грядущей гибели! Вместо наград — несправедливый и жестокий приговор, пожизненное изгнание, лишение наследия отцов и попытка — разумеется, обреченная на неудачу! — опорочить величайшую славу облыжными обвинениями! Его бегство из Флоренции, его останки, преданные чужой земле, его дети, живущие врозь, у чужих людей, — вот они, доныне не истершиеся следы тех событий. И если было бы возможно скрыть от всевидящего ока господня все прочие злодеяния флорентийцев, разве этого одного не довольно, чтобы их покарал гнев Всевышнего? Более чем довольно! Благопристойность требует, чтобы я промолчал о тех, кто, в отличие от Данте, был осыпан почестями.

Внимательно оглядевшись вокруг, видя, что нынешние поколения мало того, что сошли с пути предков,

о котором я уже упоминал, но и свернули совсем в другую сторону. И если, наперекор приведенному выше изречению Солона, мы — да и все живущие подобным образом — не падаем, а по-прежнему стоим на ногах, объяснения этому надобно искать в том, что либо время, как это часто бывает, постепенно изменило природу вещей, либо Господь Бог, снисходя к заслугам наших праотцев, поддерживает нас, свершая тем самым великое и непостижимое чудо, либо, исполненный долготерпения, он ждет нашего раскаяния; но, так или иначе, если мы не поспешим с этим раскаянием, гнев Божий, медленно, но неуклонно близящийся час возмездия, обрушит на нас беды тем более тяжкие, чем дольше мы будем коснеть в грехах. Я твердо знаю, что за любой, даже тайный проступок, нам когда-нибудь придется держать ответ, и, значит, следует не только избегать недобрых дел, но и стараться праведными деяниями искупить свершенное; поэтому, будучи уроженцем Флоренции и, следовательно, запиная в ее истории какое-то место, пусть и самое малое, меж тем как Данте Алигьери благодаря своим заслугам, добродетелям и высокородности занимает огромное, я, подобно любому флорентийцу, должен воздать ему честь; сознавая, что дарования мои чересчур убоги для столь великого дела, я тем не менее обязан восславить поэта, насколько позволит мне мой негромкий голос, раз уж сама Флоренция до сих пор не вознесла ему громоподобной хвалы; но не статую, не пышное надгробие я воздвигну ему — у нас этот обычай вывелся, к тому же подобное свершение мне не под силу, — нет, я возвеличу его словами, хотя для такой цели они слишком бедны. Но чем богат, тем и рад, — лишь бы чужеземные народы и вкуче, и порознь не посмели утверждать, что соотечественники поэта проявили неблагодарность к его великой памяти. И писать я буду слогом незатейливым, без всяких прикрас, ибо только на такой и хватит моего умения, избрав то самое флорентийское наречие, на котором, как всем известно, написана большая часть творений Данте; я буду писать о том, о чем сам он скромно умалчивал: о благородстве его происхождения, о жизни, о трудах и привычках; перечислю одно за другим его творения, которые так вознесли его в глазах потомков, что, быть может, слова мои, против воли и желая, не столько просветлят, сколько затуманят черты поэта, и буду признателен всякому, кто, зная больше, нежели я, укажет мне мои ошибки и исправит

их. И дабы этих ошибок было меньше, я смиренно молю того, кто, как нам ведомо, дозволил Данте возвестись на горные высоты,— да поможет он мне, да укрепит мой разум и слабую мою руку.

II. РОДИНА И ПРЕДКИ ДАНТЕ

Если верить древним историкам, равно как и утверждению всех нынешних, Флоренция, один из благороднейших итальянских городов, была основана римлянами. С ходом времени пределы ее так расширились и так много стало в ней жителей, простолюдинов и знатных мужей, что соседние города начали почитать ее уже не городом, но могущественной державой. Трудно сказать, какова причина того, что после столь блистательного начала все так изменилось — неблагосклонность ли фортуны, враждебность ли небес или поведение самих флорентийцев, но всем ведомо, что несколько веков спустя Аттила, свирепый вождь вандалов и опустошитель чуть ли не всей Италии, предал смерти или обратил в бегство большую часть жителей Флоренции, особенно тех, кто был известен древностью рода или высоким положением, или еще чем-нибудь прославлен, а затем превратил ее в развалины и пепелище, и в таком виде она пребывала, кажется, лет триста. Потом, когда Римской империи пришлось из Греции переместиться в Галлию, на императорский трон возшел Карл Великий, милосерднейший король франков; окончив бранные труды и, как я полагаю, вдохновленный свыше, он исполнился благородным желанием восстановить разрушенный город и в самом деле восстановил, призвав себе на помощь потомков тех самых семейств, что некогда заложили его, отстроил, хотя и не в прежних границах, а, как Рим, на небольшом пространстве внутри стен, и заселил эту новую Флоренцию отпрысками некогда изгнанных из нее родов.

По преданию, среди новоселов Флоренции был некий молодой римлянин, из знатного рода Франджакани, которого все звали просто по имени — Элизео; возможно, он ведал строительными работами, возведением домов, прокладкой улиц, а также издавал законы, необходимые новым гражданам. Потом, окончив дело, ради которого приехал, он — то ли по воле случая, то ли из любви к городу, им самим устроенному, то ли очарованный местностью

п, быть может, предчувствуя, что небеса будут к пей благосклонны, то ли еще по какой причине — навсегда там поселился и оставил после себя многочисленных и достойных потомков, которые, отказавшись от фамилии римских предков, стали зваться по имени того, кого почитали своим родоначальником, то есть Элизей. И когда прошло немало времени, смелось немало поколений, в этом семействе родился и вырос рыцарь по имени Каччагвида, славный доблестью и разумом; в юности он по желанию родителей женился на девице из феррарского рода Альдигьери, всеми превозносимой за красоту и знатность, равно как и за скромность нрава, прожил с ней долгие годы и родил нескольких детей. Как звали других детей, мне певедомо, по одного сына она нарекла Альдигьери, желая, подобно многим женщинам, дать новую жизнь имени своих предков; потом из этого имени выпала буква «д» и, таким образом искаженное, оно стало звучать как Алигьери. Высокая доблесть этого человека и послужила причиной того, что его потомки сменили имя Элизей на Алигьери, и так оно и осталось за ними по сей день. У Алигьери были сыновья и внуки, и у внуков свои сыновья и наконец при Фридрихе Великом в их роду появился мальчик, названный при крещении Алигьери, которому предстояло прославиться, но не столько делами своими, сколько сыном. Его жене незадолго до родов приснился сон о грядущей судьбе плода ее чрева, но тогда ни она, ни все прочие не смогли истолковать сновидения, зато теперь, когда все исполнилось, оно стало яснее ясного. Этой благородной даме привиделось, что она лежит на зеленом лужку под огромным лавровым деревом, а рядом журчит чистейший родник, и тут она разрешается сыном, и он, поев ягод, падавших с лавра, и напившись прозрачной ключевой воды, сразу становится взрослым пастухом и старается нарвать листьев с того дерева, ягодами которого утолил голод, и, утомившись, падает на землю, а потом встает, но он уже не человек, а павлин. И так ее поразил этот сон, что она пробудилась, а когда в урочный срок родила сына, то, с согласия мужа, дала ему имя Данте — и не зря, ибо, как станет очевидно из дальнейшего, это имя во всем себя оправдало. Это был тот самый Данте, о котором я веду речь; Данте, дарованный нашему веку великою милостию Господней; Данте, первый открывший путь к возвращению муз, изгнанных из Италии. Это он показал всему миру великолепие

флорентийского наречия; он открыл красоты народного языка, уложив его в стройные стопы; он поистине вернул к жизни омертвелую поэзию — и кто способен по достоинству оценить его свершения, тот согласится, что имя Данте подходит ему более, нежели любое другое.

III. ГОДЫ УЧЕНИЯ

Этот несравненный светоч Италии родился в нашем городе в году 1265 от Рождества спасителя нашего Иисуса Христа, когда после кончины Фридриха Великого императорский трон пустовал, а престол святого Петра был занят папой Урбаном Четвертым. Семья Данте благоденствовала — разумеется, по тогдашним понятиям. Но как бы то ни было, я не стану задерживаться на описании младенческих лет Данте, хотя уже тогда многое говорило о будущем величии его гения; скажу только, что уже в раннем детстве, едва выучившись грамоте, он не повесничал, подобно нынешним знатым юнцам, не предавался под материнским крылышком праздности и лени, но от молодых ногтей усердно занимался в родном городе свободными искусствами и необычайно преуспел в них. Когда с годами его разум и дух окрепли, оп, презрев знания, полезные лишь для накопления богатств, за которыми пынче все так гоняются, и движимый похвальной жаждой снискать не суетные блага, а долговременную славу, твердо решил вникнуть в суть поэтических вымыслов, а также научиться всем сложным способам их создания. И это привело к тому, что Данте не только стал знатоком Вергилия, Горация, Овидия, Стация и других знаменитых поэтов, но, не довольствуясь постижением их, еще и сам начал складывать стихи в подражание им, чему свидетельство — те произведения, о которых я скажу дальше. Понимая, что поэтические творения — не пустые и неразумные побасенки и сказки, как полагают многие невежды, но таят в себе сладчайшие плоды исторической и философской истины, так что, не зная истории, и науки о нравственности, и натуральной философии, нельзя понять и поэтического замысла, Данте обдуманно распределил свое время и, не жалея сил, стал в поте лица изучать историю, не прибегая ни к чьей помощи, и философию — под руководством многих ученых мужей. Упоенный сладостью познания истинной сути вещей, глубоко

скрытой по воле небес, не находя в нашей жизни ничего более милого своему сердцу, он отринул все земные заботы и предался лишь этим занятиям. И дабы ни одна область философии не осталась ему неизвестной, он, со свойственной его гению глубиной, взялся за самые запутанные вопросы теологии. И, можно сказать, наш поэт добился своей цели, ибо не боялся ни холода, ни жары, ни ночных бдений, ни голода — никаких телесных лишений; поэтому с помощью усердных занятий он достиг такого понимания сути божества и всех его проявлений, какое только возможно для человеческого разума. А так как в разные годы он посвящал свое время разным наукам, то и наставники у него были разные.

Как было уже сказано, первые познания он получил в родном городе, а потом отправился учиться в Болонью, более богатую подобной пищей; уже на пороге старости, оказавшись в Париже, Данте выступал на многих диспутах и стяжал такую славу блеском своего гения, что тогдашние его слушатели и поныне рассказывают об этом с превеликим изумлением. За свою глубокую и разнобразную ученость он вполне справедливо заслужил почетнейшие звания, и недаром еще при жизни одни именovali Данте *поэтом*, другие — *философом*, третьи — *теологом*. Но так как победа тем более славна, чем сильнее побежденный противник, я почитаю уместным рассказать, как он, плывя по разбушевавшимся морским волнам, швырявшим его из стороны в сторону, борясь с пенными валами, равно как и с противным ветром, доплыл до спасительной гавани этих высоких званий.

IV. ПОМЕХИ В ЗАНЯТИЯХ

Любые занятия требуют уединения, беззаботного существования и спокойствия души, тем паче занятия науками отвлеченными, которым, как уже было сказано, целиком предался наш Данте. А он, вместо беззаботности и спокойствия, с ранней юности и до самой кончины претерпевал исслыханные любовные муки, был обременен женой, семейными и общественными хлопотами, познал горечь изгнания и бедности, не говоря уже о прочих злоключениях, неизбежно с ними связанных; вот об этих-то суровых невгодах я и расскажу по порядку, дабы очевиднее стала их тяжесть.

Был в нашем городе обычай отмечать пристойными увеселениями ту пору года, когда ясные небеса богато украшают землю и она улыбается, вся разубранная пестрыми цветами и зеленой листвою; на подобные собрания сходились люди, жившие по соседству, добрые знакомые, равно мужчины и женщины. Следуя этому обычаю, а может, и еще по какой-то причине, некий Фолько Портинари, весьма уважаемый флорентинец, пригласил первого мая к себе в дом всех своих соседей, в том числе и помянутого Алпгьери. С ним пришел его сын Данте, хотя ему не сравнялось еще и девяти, но так повелось, что дети всегда сопровождали родителей, особенно на праздничные сборища; угостившись в доме хозяина, Данте смешался с толпой своих сверстников, мальчиков и девочек, и принял участие в ребяческих играх, приличествующих его детским годам.

Была среди детей и дочка вышепозванного Фолько, и все звали эту девочку Биче, но Данте с самого начала стал называть ее полным именем — Беатриче; ей было не больше восьми, все ее движения пленяли детской грацией и прелестью, но повадки и слова отличались скромностью и серьезностью, несвойственными столь юному возрасту; лицо Беатриче, миловидное, очень нежное и на редкость правильное, было не только красиво, но и отмечено несказанным целомудрием, так что многим она казалась ангелом небесным, — и вот такой, какой я описал ее здесь, а быть может, во много раз прекраснее, явилась она на этом празднестве нашему Данте: встречал он ее, полагаю, и раньше, но только на этот раз она внушила ему любовь и, хотя он был еще маленький мальчик, образ Беатриче так глубоко запечатлелся в его сердце, что остался в нем до самой кончины. Как это могло случиться, не ведомо никому, но то ли по сродству права и склонностей, то ли по божественному произволу, то ли тут сказалось влияние сладостной музыки, всеобщего веселья, вкусных кушаний и отменного вина — мы ведь часто наблюдаем на подобных празднествах, что души не только юнцов, но зрелых мужей распахиваются и отдаются в плен любым прельщениям, — так или иначе бесспорно одно: почти с младенческих лет Данте стал ревностнейшим служителем любви. Я не буду больше останавливаться на событиях его детства, скажу лишь,

что с годами любовное пламя все больше разгоралось в нем, и уже ничто не приносило ему радости, не давало покоя и отдыха, кроме созерцания Беатриче. Поэтому он бросал пачатое дело и устремлялся туда, где надеялся увидеть ее, словно счастье и утешение находил лишь в этом лице и в этих глазах.

О, безрассудство любящих! Кто, кроме них, стал бы тушить пожар, подкидывая в огонь солому? В своем творении «Новая жизнь» Данте сам поведал, сколько тяжелых дум, и сетований, и слез, и невыносимых страданий стоила ему эта любовь в возрасте уже более зрелом, так что я не стану больше повествовать о ней. Все же не могу обойти молчанием то, о чем и сам он писал, и очевидцы свидетельствуют, а именно что любовь эта была чиста и непорочна, что ни в едином взгляде, или слове, или движении любящего, равно как и предмета его любви, ни разу не проскользнуло сладострастное влечение: дивное для нынешнего поколения, которое чуждается пещных наслаждений и так привыкло, еще не ощутив любви, уже похотливо овладеть предметом желанья, что любящий иной любовью кажется ему невидалью, истинным чудом! Если это чувство, столь сильное и многолетнее, лишило поэта покоя, и сна, и аппетита, то какой же, должно быть, помехой оно было для его дарования и возвышенных запытий! Разумеется, немалой. Пусть многие люди утверждают, что, напротив, оно-то и дало первый толчок гению Данте, приводя как доказательство прекраснейшие рифмованные стихи, написанные им на флорентийском наречии во славу любимой, в которых он говорит о своей страсти и излагает глубоко обдуманное воззрение на любовь, но я не согласен с подобными утверждениями, иначе мне пришлось бы признать красивый слог мерой учености, а это было бы глубочайшим заблуждением.

VI. СМЕРТЬ БЕАТРИЧЕ

Все, несомненно, знают, что в этом мире нет ничего перушимого и особенно подвержена переменам людская жизнь. Чуть больше простынет или распарится человек, не говоря уже о других бесчисленных случайностях и возможностях, — и вот уже он сразу переходит от бытия к небытию, и ничто не спасает его от этого — ни знатность,

ни богатство, ни молодость, никакие мирские блага и звания; всю суровость этого общего закона Данте познал, лицом к лицу увидев смерть, но не свою, а другого существа.

Прекраснейшей Беатриче не было и двадцати пяти лет, когда по соизволению всемогущего она покинула сию юдоль печали и удостоилась в награду за свои добродетели высшего блаженства. Эта утрата повергла Данте в такую печаль и скорбь, исторгла из его глаз такие потоки слез, что многие его близкие — родные и друзья — не чаяли для него успокоения иначе как в смерти и ожидали скорого ее прихода, ибо он не внимал ничьим увещаниям, был глух ко всем утешениям. Дни его были подобны почам, а ночи — дням, и ни единый час не проходил без сетований, вздохов и горьких рыданий; глаза его сходствовали с неиссякаемыми источниками, так что все диву давались — откуда у него такой запас влаги для столь обильных слез. Но мы знаем, что бремя любой скорби с ходом времени становится не столь тяжким, ибо все в этом мире недолговечно и бrenно, и вот, через несколько месяцев, Данте мог уже без слез думать о том, что Беатриче умерла; горе, потеснившись, дало место разуму, и наш поэт принужден был признать, что никакие рыдания и слезы не вернут ему утраченную возлюбленную, ничто на свете ее не воскресит; постепенно он начал привыкать к мысли, что больше никогда ее не увидит, а через малую толику времени слезы его высохли, жалобы все реже вырывались из груди, а потом и совсем умолкли.

От пролитых слез, от печали, переполнявшей его сердце, от небрежения к себе он видом уподобился дикарю — тощий, обросший бородой, сам на себя непохожий, так что невольно возбуждал жалость не только в друзьях, но и в чужих людях; впрочем, пока жизнь его проходила в слезах, он скрывался от посторонних глаз. Движимые состраданием, боясь, как бы все это не копчилось совсем худо, родные Данте стали думать, чем бы ему помочь, и, увидев, что слезы перестали литься из его глаз, а тяжкие вздохи — вырываться из усталой груди, они вновь приступили к безутешному с утешениями, и если до сих пор он упрямо отвергал их, замыкая к ним слух, то теперь начал не только прислушиваться, но и охотно внимать всему, что говорилось ему в успокоение. Видя это и желая не только излечить Данте от скорби, но и сызнова

сделать счастливым, родные решили его жепить, дабы новая возлюбленная принесла ему не меньше радости, чем утраченная — печали. Найдя подходящую невесту, они рассказали Данте о своем намерении, подкрепляя речи доводами, по их разумению, особенно убедительными. Я и на этот раз воздержусь от подробностей, скажу только, что, потратив немало времени и усилий, родные добились своего: Данте женился.

VII. РАССУЖДЕНИЕ О БРАКЕ

О погруженные во тьму, слепые умы! О пустые рассуждения смертных! Как часто ваши советы приводят к следствиям для вас неожиданным, хотя чаще всего их можно было бы предвидеть! Кто столь безумен, что увезет человека из нашей благодатной Италии в песчанознойную Ливию, дабы он подышал там прохладой? Или с острова Кипра в повитые вечным сумраком Родопские горы, дабы он там согрелся? Какой лекарь станет лечить огневицу раскаленными угольями или сотрясающий до мозга костей озноб снегом и льдом? Разумеется, только тот, кому может взбрести на ум целить любовные страдания, причипенные одной женщиной, женитьбой на другой! Подобные врачеватели не понимают природы любви, не понимают, что всякое новое чувство лишь разжигает былую страсть. Если она глубоко укоренилась в сердце любящего, ему не помогут никакие советы, никакие увещания. На первых порах любая ничтожная помеха приятно горячит кровь, но когда любовь созрела, неодолимые препятствия могут погубить человека. А теперь вернемся к нашему предмету и поразмыслим, какими путями пытаются люди побороть терзания любви.

Подумайте сами, чего добьется тот, кто, стараясь отвлечь меня от докучной мысли, павсет множество еще более докучных? Только одного: сгибаясь под тяжестью нового бремени, я возжажду прежнего, от которого он меня избавил; так оно и бывает — за примерами далеко ходить не приходится, — когда люди, стремясь сбросить целиком или хоть отчасти груз печалей, необдуманно жепятся или позволяют себя женить, когда они на собственном горьком опыте убеждаются, что, выпутавшись из силка, попали в другой, несравненно более мудреный, и раскаиваются, по все пути назад уже для них отрезаны.

Родные и друзья решили жепить Данте, дабы он перестал оплакивать Беатриче. Не думаю, хотя и не знаю наверное, что жепитьба излечила его от страстной любви к Беатриче; правда, он уже не проливал слез — впрочем, они перестали у него литься еще до жепитьбы, — но даже если былая скорбь улеглась, ей на смелу, надо полагать, явились новые горести, быть может, не менее мучительные.

Он привык ночи напролет просиживать за своими вышеценными трудами, привык, если была охота, погружаясь в чтение, беседовать с императорами, королями, с великими властителями, привык вступать в споры с философами, наслаждаться обществом самых прославленных поэтов, выслушивать пени страждущих и этим умерять собственную скорбь. А теперь он бывал в подобном обществе только с дозволения молодой жены, а если дозволения не было, ему приходилось отрываться от столь замечательных собеседников, и, попусту расточая время, слушать женские рассуждения, и не только соглашаться с ними, но и выдавливать из себя похвалы, дабы избежать попреков. Он любил уединяться, наскучив пошлой чернью, и раздумывать на свободе о том, какая духовная сила движет небесными сферами, кто вдохнул жизнь в тварей земных, какова причина причин, или вынашивать удивительные замыслы, или сочинять произведения, обессмертившие его имя среди потомков, а теперь должен был, подчиняясь желанию молодой жены, не только сразу прерывать эти дорогие ему раздумья, но и смешиваться с обществом, весьма не склонным к таким раздумьям. Он привык смеяться и плакать, слагать песни и вздыхать в согласии с обуревавшими его сладостными или скорбными чувствами, а теперь не смел и думать об этом, ибо обязан был отдавать отчет не только в делах серьезных, но и в малейшем вздохе, докладывать, отчего, да почему, да зачем он вздыхает, так как если он весел, значит, любит другую, а если печален, значит, ненавидит ее, молодую жену.

О, какое невыносимое бремя — жить, разговаривать, стариться и пакопец умереть бок о бок с таким подозрительным существом! А что уж говорить о новых заботах, особенно тяжких человеку, к ним непривычному (да еще в нашем городе) — например, как раздобыть новые наряды, драгоценности, ненужные украшения, которые лишь загромаждают дом, но, по мнению женщин, необходимы для пристойной жизни, как раздобыть слуг и слу-

жапок, кормилиц и горпичных, как раздобыть угощения для пиров, подношения и дары для родичей молодой жены, дабы она убедилась, что муж любит их, да еще многое, о чем и не подозревают холостяки. А теперь я перейду к тому, о чем пельзя умолчать. Всякий знает, что досужие люди любят посудачить о чужих женах — мол, эта красна, а та нет. И если женщина прослышет красавицей, всякий знает, что ее тотчас окружит толпа поклонников и начнет бесстыдно смущать нестойкую душу — кто красотой, а кто знатностью, тот безмерной лестью, другой подарками, третий приятным обхождением. И, скорее всего, хоть один да добьется того, что так желанно многим. Меж тем довольно женщине всего раз занять свою честь — и она уже навеки опозорена, а муж глубоко несчастен. Если, на горе себе, мужчина взял в жены дрянную женщину, то и красавица порою быстро ему надоедает — примеров тому множество, — а некрасивая, с которой к тому же он связан по гроб жизни, становится так противна, что, надо полагать, даже место, где она постоянно находится, делается ему ненавистно. В ответ на это она полнится злобой, а пет зверя более свирепого, нежели разозленная женщина, и уже не найти на свете покоя тому, кто обречен жить с женой, которой кажется, будто гнев ее справедлив, — а ведь кажется это им всем!

Что сказать об их обыкновениях? Начни я доказывать, как и до какой степени жены враждебны покою и безмятежности мужей, мое рассуждение чересчур бы растянулось; достаточно сказать лишь об одной черте, присущей почти всем женщинам. Твердо зная, что хорошего слугу никто не выгонит, а дурному сразу откажут от места, они полагают, что во всем уподобляются слугам, когда ведут себя хорошо, зато чувствуют себя истинными хозяйками, когда поступают дурно и, однако, их никто не выгоняет. Но к чему мне распространяться о том, что и так почти всем нам известно? Лучше набрать воды в рот, чем речами своими навлечь на себя гнев этих прелестниц. Любой знает, что покупатель сперва хорошенько присмотрится к товару, а потом уж возьмет, по вот к будущей жене это не относится: к ней присматриваться не позволяют из страха, что она разонравится мужчине еще до того, как он введет ее в свой дом. Женятся не на той, какая была бы по праву, а на той, какую судьба подсушет. И ежели эти мои рассуждения верны — а у кого есть опыты, тот с ними согласится, — можно себе представить,

сколько страданий таится в спальнях, слывающих обителями счастья у людей, чьи глаза недостаточно проницательны, чтобы видеть сквозь стены. Разумеется, я не утверждаю, что именно так было и у Данте — мне это неизвестно, — тем не менее, по этим ли причинам или по каким другим, по расставшись с той, что была дана ему как услада всех скорбей, он уже никогда к ней не возвращался и, где бы ни находился, не допускал ее к себе, хотя прижил с ней нескольких детей. Только пусть не пытаются делать из моих слов вывод, будто я стараюсь отвести мужчин от женитьбы: напротив, я от души ее восхваляю, но не для всех. Пусть те, что преданы возвышенным занятиям, предоставят эту честь богатым дурням, знатным вельможам и простолюдинам, а сами пусть наслаждаются философией, этой лучшей в мире супругой.

VIII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДАНТЕ

Естественный ход нашей мирской жизни таков, что одна забота неизменно влечет за собой другую. От семейных дел Данте невольно обратился к делам государственным и, обольщенный суетными почестями, неизменными спутницами общественных должностей, забыв, откуда пришел и куда направляется, с головой погрузился в эти хлопотливые дела, и Фортуна была попервоначально так милостива к нему, что если случалась надобность принять или отправить послов, утвердить или отменить закон, заключить мир или объявить войну, короче говоря, решиться на какой-нибудь важный шаг, правители прежде всего испрашивали мнения Данте. Казалось, Флоренция только ему и верит, только на него и падает, ему одному препоручает попечение о своем духовном и земном благоденствии.

Но Фортуна, ниспровергательница наших замыслов и врагиня людского благополучия, сперва несколько лет держала Данте на самом верху своего колеса, а затем, когда он непоколебимо уверовал в нее, повернула колесо так, что он очутился в самом пизу.

IX. ОСУЖДЕНИЕ НА ИЗГНАНИЕ

В те времена флорентийцы были злосчастнейшим образом разделены на две партии, и во главе каждой стояли опытные и хитроумные вожди, так что силы были равные,

и то одна партия брала верх, то другая, к неудовольствию потерпевшей поражение. Дабы воссоединить разъятое тело родного города, Данте пустил в ход все свои способности, знания, умения, стараясь внушить благоразумнейшим из сограждан, что раздоры быстро уничтожают даже великое начинание, меж тем как согласные действия придают огромный размах даже самому малому. Но потом он увидел, что слушатели его закоснели в упрямстве и все старания переубедить их напрасны, и решил было отказаться от всех должностей и замкнуться в уединении, считая, что такова воля божья; однако, соблазненный приманками славы и расположения суетной черни, поддавшись увещаниям пменитых граждан, движимый к тому же убеждением, что при случае сможет оказать своему городу большие услуги, занимая важные посты, нежели отвергнув их и от всего отрешившись (о бессмысленная жажда людских почестей, ты так сильна, что пет, кажется мне, человека, который был бы от тебя свободен!), этот зрелый муж, вскормленный, возвращенный, наставленный благой философией, знающий многие примеры свержения властителей, равно древних и нынешних, гибели государств, областей, городов, яростных подстрекательств Фортуны, внушающей, что гнаться надо лишь за высокими званиями, все-таки не захотел или не смог отвернуться от этих соблазнов. Итак, Данте решил не отказываться от поддельного блеска и жалкого великолепия почетных должностей; при этом он сознавал, что ему не создать третьей партии, столь сильной и справедливой, что, положив конец несправедливостям двух уже существующих, она пресекла бы их раздоры, вот он и присоединился к той, которая казалась ему рассудительнее и достойнее, и продолжал в меру своего разумения трудиться на пользу отчизны и сограждан. Но человек предполагает, а бог располагает. Взаимная ненависть и вражда флорентийцев, хотя и ни на чем не основанная, день ото дня росла, и дело доходило до того, что при общем смятении умов горожане хватались за оружие, надеясь решить все споры огнем и мечом, не разумея в ослеплении гнева, что лишь близят час горестной своей гибели. И так как обе стороны уже не раз доказывали свою мощь, нанося друг другу немалый урон, пришло время исполниться тайным замыслам грозной судьбы: прошла молва — а она равно разнесит правду и ложь, — что партия, враждебная партии Данте, собрав множество

вооруженных приспешников, готовит неприятелям опасную и хитроумную ловушку, и те, в лице своих вождей, исполнились такого страха, что, не внемля советам, не рассуждая, не раздумывая, решили спастись бегством; вместе с ними вынужден был бежать и Данте, в единый миг лишившийся всех высоких должностей, поверженный на землю, более того — изгнанный из родной земли. Едва они покинули город, как чернь начала яростно крушить и грабить их жилища, а еще через несколько дней победители установили во Флоренции свои порядки, приговорили вождей побежденной партии к вечному изгнанию, недвижимое же имущество беглецов частью передали в казну, частью поделили между собой; в числе злейших врагов Флоренции чуть ли не на первом месте был назван Данте.

Х. ИНВЕКТИВА ПРОТИВ ВРАГОВ ДАНТЕ

И вот награда, полученная поэтом за нежную любовь к отчизне! Вот награда ему за неусыпные старания положить конец междоусобицам! Вот награда за все хлопоты, за все усилия одарить сограждан благополучием, спокойствием, миром! Какое неопровержимое доказательство непостоянства толпы и безрассудства тех, кто на нее полагается! Человек, который совсем еще недавно считался надеждой государства, любимец всех флорентийцев и опора народа, был ни за что ни про что, незаконно, беспричинно и внезапно обречен на вечное изгнание злобыным приговором той самой черни, прежде так часто превозносившей его до небес! Вот оно, мраморное изваяние, воздвигнутое, дабы продлить в веках память о его добродетелях! Вот они, буквы, которыми на золотых скрижалях начертано его имя среди имен покровителей отчизны! Вот она, исполненная признательности хвала за все его благо свершения! Найдется ли после этого человек, который, глядя на подобные дела, не скажет, что наше государство и впрямь охромело? О суетное людское самообольщение, почему такое великое множество душевраздирающих примеров не служит тебе предостережением, уздой, напоминанием о неизбежном падении? Увы! если за давностью лет ты позабыло Камилла, Рутилия, Кориолана, обоих Сципионов и других доблестных мужей древности, пусть хоть этот совсем недавний случай обра-

зумит тебя и предостережет от погони за мирскими уладами! Нет на свете ничего более неустойчивого, нежели народная любовь; лишь глупец может советовать ввериться ей, и лишь умалишенный на нее рассчитывает! Поэтому устремимся душой к небесам, чьи бессрочные законы, чье вечное величие, чья истинная красота незаметно отражают в себе того, кто, сам незыблемый, движет всем сущим по премудрому своему произволению, ибо от заблуждений мы упасемся, только если откажемся от суеты сует и возложим упования наши на него одного — единственный в мире непоколебимый оплот.

XI. СКИТАНИЯ ПОЭТА

Вот так Данте покинул город, чьи стены не только видели, как возрастал поэт, но и были восстановлены из руин его предками, и ушел в изгнание, не взяв с собой ни жены, ни детей, слишком малолетних, чтобы следовать за ним; надобно сказать, что за безопасность семьи он не тревожился, ибо жепя Данте находилась в родстве почти со всеми главарями враждебной ему партии, но его самого всюду подстерегали опасности, поэтому он скитался по всей Тоскане. Жена его с великим трудом спасла от буйства черни малую толику их имущества под предлогом того, что будто бы это — ее приданое, так что кое-как могла прокормиться с детьми, а он, обездоленный, должен был ломать себе голову, чем бы снискать пропитание. Как часто он подавлял в себе справедливый гнев, когтивший его хуже смертной муки, подавлял, тешилась надеждой, что все это ненадолго, что еще немного терпения — и он вернется на родину! Но ожидания не сбывались и, покинув Верону (куда бежал из Флоренции к гостеприимно встретившему его мессеру Альберто делла Скала), он год за годом жил то в Казентино у графа Сальватико, то в Луниджане у маркиза Моруелло Малеспина, то у семейства Фаджуола в горах неподалеку от Урбино, и все принимали его с почетом, насколько позволяли им средства и обстоятельства. Потом он побывал в Болонье, немного погодя — в Падуе и наконец снова в Вероне. С каждым днем он все больше убеждался, что надежда его тщетна и все пути возвращения во Флоренцию отрезаны, и тогда распростился не только с Тосканой, но и вообще с Италией и, кое-как перебравшись через

горы, отделяющие ее от Галлии, направился в Париж и поселился там, все свое время посвящая изучению философии, богословия и других наук, выветрившихся у него из памяти за годы злоключений. Пока он жил, погруженный в ученые труды, случилось нечто, им непредвиденное: Генрих, граф Люксембургский, по желанию и воле тогдашнего папы Климента V, был возведен в сан короля Римского и коронован императорской короной. Из Германии император отправился в Италию, где многие провинции были ему враждебны, и повел сокрушительную осаду Брешии. И вот Данте, прослышав об этом, твердо уверовал, что, судя по ряду признаков, император всецело одержит победу, после чего он, Данте, с помощью сильного и справедливого государя, сможет вернуться в родной город, как бы ни противились тому флорентийцы. И он снова перебрался через горы и, вместе с многочисленными неприятелями тогдашних флорентийских правителей, стал засылать послов и писать письма императору, уговаривая снять осаду с Брешии и все силы бросить на Флоренцию, доказывая, что стоит сломить эту главную противницу государя — и уже не составит никакого или, во всяком случае, особого труда завоевать и другие области Италии, очистить их от врагов и утвердить свою власть. Им удалось убедить Генриха пойти на Флоренцию, по цели своей они не достигли: город держался стойко, гораздо упорнее, чем они предполагали, и, не добившись успеха, император в глубоком унынии повернул на Рим. Все же он кое-чего уже достиг, многое начал, еще больше замыслил, но тут все его предприятия оборвала безвременная копчина, повергшая в отчаяние всех, кто связал с ним свои чаяния, особенно же Данте: больше не пытаясь вернуться на родину, он перешел через Апеннины и поселился в Романье, где прожил до самой смерти, положившей конец всем его невзгодам.

XII. В РАВЕННЕ У ГВИДО ДА ПОЛЕНТА

В те времена правителем Равенны, прославленного и древнего города в Романье, был благородный рыцарь по имени Гвидо Новель да Полента, знаток свободных искусств и почитатель людей, одаренных талантами, особенно же видных ученых. Когда до него дошла весть, что тот самый Данте, о дарованиях которого он давно уже

был паслышап, пежданно-пегаданео прыбыл в Ромапью и погружеп в безысходную скорбь, Гвидо да Полепта захотел пригласить поэта к себе и принять с высоким почетом. Не дожидаясь, чтобы Данте воззвал к его гостеприимству, и понимая, как мучительно человеку таких достоинств унижаться до просьб, он великодушно решил опередить поэта и, как об особой милости, сам попросил о том, о чем рано или поздно выпужден был бы просить Данте: о согласиИ поселиться у него в Равенне. И так как желания приглашавшего и приглашаемого совпали, к тому же Данте пришлось по сердцу гостеприимство благородного рыцаря, да и нужда не оставляла ему другого выхода, он, не дожидаясь повторного приглашения, сразу отправился в Равенну, был с честью принят правителем города и, обласканный им, воспрянувший духом, среди изобилия и довольства, не терпя ни в чем недостатка, прожил там до конца своей жизни.

XIII. УСЕРДНЫЕ ТРУДЫ ДАНТЕ

Ни пылкая любовь, ни горячие слезы, ни семейственные заботы, ни искусительная слава видных должностей, ни прискорбное изгнание, ни мучительная нищета — ничто не могло отвлечь нашего Данте от благих трудов — его главной жизненной цели, ибо, как будет рассказано ниже, когда пойдет речь о его сочинениях, он и в годы жесточайших испытаний продолжал творить. Но если, невзирая на описанные выше бесчисленные и почти неодолимые препятствия, Данте силой своего гения и настойчивостью стяжал нынешнюю свою славу, каких бы ее высот он достиг, будь у него, как у многих других, толпы приверженцев или, по крайней мере, не имей он врагов — во всяком случае, столь многочисленных? Разумеется, я ничего не могу утверждать, но осмелюсь все же предположить, что на земле он уподобился бы небожителю.

XIV. СМЕРТЬ ПОЭТА

Расставшись если не с желанием, то с надеждой возвратиться во Флоренцию, Данте несколько лет прожил в Равенне под защитой милостивого своего покровителя

и за это время своим примером многих приохотил к сочинению стихов, особенно на народном итальянском языке, который, по моему разумению, он прославил и облагородил в глазах своих соотечественников не меньше, чем Гомер — свой язык в глазах греков, а Вергилий — у латинян. И хотя с недавних пор принято считать, что наш поэт не первый начал слагать стихи на этом языке, никто прежде не осмеливался и не пытался в размеренных строфах с созвучными окончаниями создавать на нем величавые творения искусства: он казался пригодным лишь для изящных любовных стихов. А Данте неопровержимо доказал, что и на народном языке можно вести речь о самых глубокомысленных предметах, и вознес его выше всех других языков.

Но, как для всякого смертного, пришел час и для Данте; почти на половине пятидесят шестого года жизни он заболел и с благочестивым смиренным причастием святых тайн, как повелевает нам наша христианская вера, и, покаявшись во всем, чем по слабости человеческой мог прогневить всевышнего, испросил у него прощения и в середине сентября месяца года от рождества христово 1321, в тот самый день, когда церковь празднует Воздвижение Честного креста, наш поэт, к великой скорби вышеназванного Гвидо и всех равенских жителей, отдал Господу утомленную душу, которую, несомненно, приняла в свои объятия его благороднейшая Беатриче, и теперь перед ликом того, кто есть нетленное благо, отряхнув скорби бренного существования, он вместе с ней вкушает счастье, коему нет конца и предела.

XV. ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПОЧЕСТИ, ВОЗДАННЫЕ ДАНТЕ

Великодушный рыцарь повелел украсить гроб Данте эмблемами, какие подобают поэту, самые именитые горожане на плечах отнесли этот гроб на кладбище при церкви святого Франциска, и там Данте были возданы достойные почести, и Гвидо, с трудом подавляя рыдания, приказал поместить гроб в каменную усыпальницу, хранящую его доныне. После похорон Гвидо направился в дом, где прежде жил Данте, и, по равенскому обычаю, произнес длинное и красноречивое хвалебное слово в прославление великой учености и добродетелей усопшего и в утешение его друзьям, покинутым им в сей юдоли

скорби, и обещал, ежели ему и впредь будет дарована жизнь и власть, почтить Данте таким надгробием, которое сохранило бы память о нем в веках, даже если бы он сам не увековечил себя своими творениями.

XVI. СОСТЯЗАНИЯ НА ЛУЧШУЮ ЭПИТАФИЮ ДАНТЕ

Вскоре достохвальное намерение Гвидо стало известно всем лучшим стихотворцам в Романье, и они, стремясь выказать свое дарование, равно как и воздать должное памяти усопшего поэта, а также завоевать расположение и милость властителя, изъявившего это желание, сочинили по стихотворной эпитафии для будущего надгробия, дабы из этих хвалебных строк потомки узнали, чей прах покоится тут, и послали свои творения великодушному рыцарю, но тот, сделавшись вскорости жертвой превратностей судьбы, лишился своих владений и окончил жизнь в Болонье, так что намерение его воздвигнуть надгробие, украшенное эпитафией, осталось втуне. Не так давно я имел случай прочесть эти стихи и счел нелишним, раз уже они по указанной причине не заняли подходящего им места, присоединить их к этому сочинению: не будучи гробницей, покоящей прах Данте, оно, подобно ей, призвано хранить вечную память о поэте. Но точно так же, как на мраморном надгробии высекали бы лишь одну эпитафию из всех написанных (а их было много), я помещаю здесь всего одну — ту, которую по внимательному рассмотрению нашел наиболее достойной и по исполнению, и по мысли, а именно четырнадцать строк, сочиненных маэстро Джованни дель Вирджилио, знаменитым в то время болонским поэтом и преданнейшим другом Данте. Вот эти строки:

XVII. ЭПИТАФИЯ

Theologus Dantes, nullius dogmatis expers;
Quod foveat clara philosophia sinu:
Gloria musarum, vulgo gratissimus auctor,
Hic iacet, et fama pulsat utrumque polum:
Qui loca defunctis gladiis regnumque gemellis
Distribuit, laicis rhetoricisque modis.
Pasqua Pieriis demum resonabat avenis;

Atropos heu laetum livida rupit opus.
Huic ingrata tulit tristem Florentia fructum,
Exilium, vati patria cruda suo.
Quem pia Guidonis gremio Ravenna Novelli
Gaudet honorati continuisse ducis,
Mille trecentenis ter septem Numinis annis,
Ad sua septembris idibus astra redit.

XVIII. ИНВЕКТИВА ПРОТИВ ФЛОРЕНТИЙЦЕВ

О неблагодарная отчизна, скажи, в приступе какого помешательства или умоиступления осмелилась ты с такой неслыханной жестокостью изгнать из своих пределов бесценнейшего своего гражданина, величайшего своего благотворителя, несравненнейшего своего поэта? И чем ты была одержима потом? Если ты пытаешься пайти себе оправдание за содеянное зло в том духе буйства, который вселился тогда во всех, почему, когда гнев твой утих и душа обрела спокойствие, почему, спрашиваю я, ты не раскаялась и не призвала поэта к себе? Выслушай же меня, твоего сына, не будь глуха к укоризне, вызванной справедливым негодованием, ибо я ищу только твоего исправления, а не наказания. Уж не думаешь ли ты, что, украшенная столь блистательными достоинствами, не так много потеряла, изгнав человека, каким не мог бы похвалиться ни один из соседних с тобой городов? Ответь, какими победами, свершениями, добродетелями, какими доблестными гражданами ты прославлена? Чернь, которую всегда прельщает видимость, а не суть, превозносит тебя за твое богатство, непрочное и преходящее, за твои красоты, хрупкие и бранные, за твою роскошь, предосудительную и расслабляющую. Быть может, ты гордишься своими многочисленными купцами и художниками? Увы! какая слепость! Торговля — измененное ремесло, ибо ею движет лишь корыстная жажда паживы, а искусство, некогда столь облагороженное людьми высокого гения, что благородство это как бы сроднилось с ним, нынче развращено той же самой корыстью и мало чего стоит. Или ты гордишься нерадивостью и подлостью тех, что, спесивясь древностью родословной, стараются захватить все почетные должности, тут же позоря их грабежами, коварством, изменами? Недостойная гордость — она вызовет лишь презрение у людей, чьи суждения зиждутся на твердой,

неколебимой основе. О жалкая мать, прозри наконец и пойми, что ты натворила, устыдись и раскайся в содеянном — ведь ты слывешь мудрой, а так ошиблась в своем выборе! Увы! если ты была неспособна принять правильное решение, почему не взяла примера с тех городов, которые по сей день славятся похвальными деяниями? Афины, этот город, один из светочей Греции, некогда повелевавший миром, знаменитый ораторами, учеными, искусными полководцами; Аргос, все еще гордый своими высокородными царями; Смирна, заслужившая поклонение в веках, ибо пастырем ее был святой Николай; Пилос, прославленная родина старца Нестора; Кима, Хиос и Колофон — все эти великолепные города древности в дни высшего своего расцвета не считали зазорным яростно оспаривать друг у друга честь называться родиной богоравного поэта Гомера и так твердо и убедительно доказывали свои права, что их тяжба не решена и в наши дни, да и как ее решить, если они до сих пор похваляются своим великим гражданином. Не тем ли знаменита Мантуя, паша соседка, что Вергилий был мантуапцем? Имя его так известно там и окружено таким почетом, что изображения поэта украшают не только общественные здания, но и многие частные жилища: пусть он был сыном горшечника — мантуапцы понимают, что благородство Вергилия облагородило и их. Как гордится Сульмона Овидием, Веноза — Горацием, Аквин — Ювенолом, да и любой город — любимым своим славным сыном, и каждый утверждает его достоинства. Тебе было бы отнюдь не зазорно последовать их примеру, ибо не без основания они так любили и чтили этих сограждан: они понимали то, что следовало бы и раньше, и теперь понимать и тебе, а именно что создатели замечательных творений увековечивают родной свой город; название его продолжает жить, даже если он сам исчез с лица земли, а облик, воскрешенный этими известными всему миру произведениями, въяве предстает людям, которые его никогда не видели. Ты одна, в каком-то непонятном ослеплении, избрала другой путь, ты пренебрежительно отвернулась от этого светила, словно сама льешь яркие лучи, словно Камиллы, Публиколы, Торкваты, Фабриции, Катоны, Фабии, Сципионы — твои чада, прославившие тебя своими дивными свершениями; ты не только упустила из рук Клавдиана, древнего своего гражданина, но не сберегла и нынешнего, ты отвергла поэта, изгнала его и, будь это в твоих силах,

воспретила бы ему именоваться себя флорентийцем. Как после этого мне не краснеть за тебя? И вот уже не Фортуна, а извечный ход вещей, словно угождая гнусным твоим желанием, свершает то, что в омерзительном иступлении свершила бы ты сама, попадись поэт в твои руки: он, этот непреложный закон, убивает его. Умер Данте Алигьери, умер в изгнании, на которое ты, завидуя его совершенствам, столь несправедливо обрекла поэта. Слыхано ли, чтобы матери была ненавистна добродетель ее собственного сына? Какой небывалый грех! Но теперь он умер, теперь ты можешь безнаказанно коснуться в пороках, так уймись же и прекрати это долгое, несправедливое гонение! Он и живой не стал бы тебе вредить, тем паче не повредит мертвый. Он лежит под чужими небесами, и увидишь ты его лишь в тот день, когда все твои граждане предстанут пред праведным судьей, который взвесит их вины и покарает по заслугам.

Если верно, что ненависть, злоба и вражда умолкают перед лицом смерти, кто бы ни был умерший, пора тебе опомниться, взяться за ум, устыдиться дел, столь противных бывшему твоему милосердию, пора снова стать матерью, а не врагиней, пролить наконец слезы по своему сыну, предаться материнскому горю, пора пожелать, чтобы хотя после кончины к тебе возвратился тот, кто при жизни был оклеветан и изгнан тобою, пора воздать должное его памяти, вернув ему права гражданства, место в твоих стенах, твою признательность. Подумай, в ответ на неблагодарность, на преследования он платил тебе сыновней почтительностью, он не отнял у тебя права гордиться его творениями, хотя ты лишила его прав гражданства. Проведя столько лет в изгнании, он всегда и сам именовал себя флорентийцем, и от других требовал того же, всегда предпочитал тебя всем другим городам, всегда тебя любил. Какой же путь изберешь ты сейчас? Будешь ли упорствовать в своей ненависти? Неужели в тебе меньше человечности, чем у варваров, которые — и это всем нам известно — не только просят выдать им павших в бою соплеменников, но и мужественно идут на смерть, лишь бы вырвать у врагов их тела? Ты требуешь, чтобы мир видел в тебе внучку прославленной Трои и дочь Рима, по у детей всегда есть черты сходства с родителями и пращурами. Удрученный скорбью Приам не только молил выдать ему тело сраженного Гектора, но за его останки он отдал бесценные сокровища. По преда-

пию, римляне перевезли в свой город из Литерна прах Сципиона Старшего, нарушив этим его предсмертную, твердо изъявленную волю. Притом, что Гектор долго и доблестно защищал Троию, а Сципион был освободителем не только Рима, но и всей Италии, меж тем как Данте, говоря по всей строгости, не совершил подобных подвигов, он все же заслуживает не меньшего почта, ибо во все времена сила оружия склонялась перед силою знания. Тебе с самого начала пристало бы следовать примеру помянутых мудрых городов, но ты этого не сделала, так хоть сейчас искупи свою вину. В семи упомянутых городах красуются надгробия над подлинной или мнимой могилой Гомера. И кто усомнится, что мантуанцы, которые так благоговейно оберегают бедный домик и поля в Пьеттоле, некогда принадлежавшие Вергилию, не воздвигли бы ему великолепного надгробия, когда бы Октавиан Август, перенеся останки поэта из Брундизия в Неаполь, не повелел считать место его погребения неприкосновенным? Как долго скорбит Сульмона о том, что ее Овидий похоронен где-то у Понтийских берегов, и как радуется Нарма, что сберегла у себя прах Кассия. Пожелай же и ты стать хранительницей останков твоего Данте, попроси вернуть их тебе, притворись, что способна на великодушные чувства, даже если в действительности этот прах тебе не надобен, лицедействуй, но хоть отчасти оправдайся в тяжком проступке. Попроси вернуть тебе его прах. Я не сомневаюсь, тебе в этом откажут, так что, явив милосердие, ты в то же время сможешь радоваться с присутствующей тебе жестокостью, что поэт по-прежнему отчужден от тебя. Но к чему эти уговоры? Я ведь не верю тому, что, будь мертвецы способны на какие-либо чувства, Данте пожелал бы покинуть свою нынешнюю могилу и возвратиться к тебе. Он покоится рядом с такими достойными соседями, равных которым ты не можешь ему предложить. Он покоится в Равенне, превосходящей тебя своей древностью, и пусть время исказило ее черты, в цветущие свои годы она была более прекрасна, нежели ты теперь. Равенна ныне — как бы огромная усыпальница тех, чья память священна для нас, и, куда ни кинешь взгляд, любая пядь ее земли хранит почитаемый нами прах. Так кто же пожелает вернуться к тебе и лежать среди твоих граждан, которые, быть может, и в могиле все еще исполнены злобы и ненависти и, не забыв былой

вражды, так же рвутся прочь друг от друга, как языки пламени погребального костра, зажженного над двумя фиванцами? Равенна, омытая бесценной кровью многих мучеников, благоговейно хранящая их прах, равно как и прах стольких могучих императоров, стольких людей, прославленных как своими предками, так и добродетельными делами, тем не менее не перестает радоваться, что Господь в милосердии своем дозволил ей стать бессменной хранительницей, среди других достойных, и этого сокровища — останков человека, чьи творения восхищают весь мир, человека, до которого ты так и не возвысилась. Но как ни велика радость Равенны, что Данте погребен в ее пределах, еще сильнее зависть, что родился он в твоих, и она невольно пегодует, ибо всякий раз, вспоминая о его последних днях и, значит, о ней, потомки будут вспоминать о его родине и, значит, о тебе. Косней же в своей неблагодарной злобе и предоставь Равенне гордиться перед будущими поколениями твоим славным поэтом.

ХІХ. СОКРАЩЕННОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО

Выше я рассказал о том, как завершилась жизнь Данте, утомленного многотрудными учеными заплатами, и исполнил свое обещание, поведав, ничего, как мне кажется, не упустив, о его пылкой любви, семейных и государственных заботах, о его горестном изгнании и о кончине, а теперь пора описать его облик, повадки и самые примечательные черты характера; потом я сразу перейду к главным творениям поэта, созданным, невзирая на злоключения, о которых коротко повествуется выше.

XX. ОБЛИК И ОБЫКНОВЕНИЯ ДАНТЕ

Был наш поэт роста ниже среднего, а когда достиг зрелых лет, начал к тому же сутулиться, ходил всегда неспешно и плавно, одежду носил самую скромную, как подобало его годам. Лицо у него было продолговатое и смуглое, нос орлиный, глаза довольно большие, челюсти крупные, нижняя губа выдавалась вперед, густые черные волосы курчавились, равно как и борода, вид был неизменно задумчивый и печальный. Это, надо полагать, и послужило причиной следующего случая. Когда творе-

прия Данте уже повсюду славилась, особенно та часть его «Комедии», которую он озаглавил «Ад», и поэта знали по облику многие мужчины и женщины, он шел однажды по улице Вероны мимо дверей, перед которыми сидело несколько женщин, и одна из них, завидя его, сказала, понизив голос, но не настолько, чтобы слова ее не достигли слуха Данте и его спутников: «Посмотрите, вот идет человек, который спускается в ад и возвращается оттуда, когда ему вздумается, и приносит вести о тех, кто там томится», — на что другая бесхитростно ответила: «Ты говоришь истинную правду — взгляни, как у него курчавится борода и потемнело лицо от адского пламени и дыма». Услышав эти речи, произнесенные за его спиной, и понимая, что подсказаны они простосердечной верой, Данте улыбнулся, довольный таким мнением о себе, и прошел дальше.

И дома, и на людях он всегда был на удивление спокоен и сдержан, и повадки его отличались замечательной благопристойностью и учтивостью.

В пище и питье он был очень воздержан, трапезовал всегда в одни и те же часы, никаким яствам не отдавал предпочтения: изысканные хвалил, но обходился самыми незатейливыми, сурово порицая тех, что отвлекаются от ученых занятий и расточают время на приобретение редкостных припасов, а потом на тщательное приготовление утонченных кушаний, и говорил про них, что эти люди не затем едят, чтобы жить, а живут, чтобы есть. Был неслыханно ревностен в ученых своих трудах, да и во всем, за что брался, так что его родители и жена горько сетовали, пока не привыкли и не перестали обращать внимание на это. Редко вступал в разговор первый, а если вступал, то речь его была медлительна, а голос всегда звучал в лад тому, о чем шел разговор; но когда требовалось, умел говорить гладко и красноречиво, отчеканивая каждое слово. В юности своей был страстно привержен к музыке и пению, дружески встречался со всеми лучшими певцами и музыкантами, и они, по его просьбе, слагали приятную и величавую музыку на многие стихи, которые он ради этого писал. Я уже рассказывал о том, как преданно Данте служил той, кого всю жизнь любил. По общему убеждению, любовь к Беатриче и побудила его обратиться к сочинению стихов на народном итальянском языке; сперва он просто подражал разным поэтам, а потом, неуступно упражняясь, стремясь как можно лучше выразить свои чувства и стяжать славу, достиг

величайшего искусства в складывании стихов на народном языке и не только превзошел всех своих современников, но, сверх того, так очистил и украсил этот язык, что с тех пор многие стремятся — да и будут стремиться — досконально его изучить.

Данте любил уединяться, жить отшельником, дабы ничто не прерывало его размышлений, а если ему приходила в голову занимательная мысль, то, в каком бы пап поэт ни находился обществе и о чем бы его ни спрашивали, он отвечал, лишь додумав эту мысль до конца, приняв ее или отвергнув, и так оно бывало и в часы многолюдных трапез, и во время путешествий, и вообще когда угодно.

Если он погружался в занятия, все равно где и когда, его не могло отвлечь от них самое разительное известие. Об этой способности безраздельно отдаваться тому, что привлекло его внимание, достойные доверия люди рассказывают следующее: будучи в Сиене, Данте зашел однажды в аптекарскую лавку, и ему принесли туда давно обещанную книжечку, весьма ценимую знатоками, а им еще не читанную; не имея возможности унести ее в другое, более удобное место, он тут же положил книжечку на прилавок, оперся на него грудью и начал жадно читать. Вскоре на той же улице, по случаю какого-то праздника, начался турнир между знатными сиенскими юношами, но ничто — ни шум, поднятый зрителями, которые, как всегда в таких случаях, выражали одобрение громкими воплями, ни пестрый гул многих инструментов, ни зрелища, последовавшие за турниром и столь же занимательные, как, например, пляски красивых женщин или гимнастические упражнения юношей, — ничто, повторяю, не побудило Данте поднять голову, оторвать глаза от книги, и он простоял, не меняя положения, с часу дня до вечера, пока не прочитал книги и не обдумал ее содержания, а потом, когда у него спросили, как это он ухитрился ни разу не взглянуть на такое празднество, хотя находился тут же, Данте ответил, что решительно ничего не слышал, чем снова поверг в изумление тех, кто обратился к нему с этим вопросом.

Сверх того Данте отличался несравненными способностями, великолепной памятью и остротой суждений, так что когда в Париже на диспуте *de quodlibet* — а такие диспуты время от времени устраивались на богословском факультете — поэт защищал четырнадцать тезисов по

различным вопросам против многих ученых мужей, он, выслушав все за и против своих оппонентов, затем без заминки последовательно повторил их возражения и в том же порядке остроумно разбил один за другим эти противоречивые доводы. Все присутствовавшие на диспуте вспоминали об этом как об истинном чуде. Он обладал также возвышенным строем ума и богатым воображением, но собственные его творения говорят об этих свойствах любому понимающему человеку куда красноречивее, чем способен сказать я.

Он страстно жаждал восхвалений и пышных почестей — более страстно, быть может, чем подобает человеку столь исключительных добродетелей. Но что из того? Покажите мне такого смиренника, которого не прельщала бы сладость славы. Думаю, как раз из-за славолюбия и предпочитал Данте занятие поэзией всем другим занятиям, ибо понимал, что хотя нет науки благороднее философии, превосходные ее истины доступны лишь немногим, к тому же на свете немало знаменитых философов, тогда как поэзию понимают и ценят все, а хорошие поэты — папачет. И потому в надежде заслужить лавровый венок — почесть редчайшую и пышно обставленную — он безраздельно отдался изучению поэзии и творчеству. И нет сомнений, его желание исполнилось бы, когда бы судьба благосклонно позволила ему возвратиться во Флоренцию, ибо только в этом городе, только под сводами крещальни Сан Джованни хотел он увенчаться лаврами: там, при крещении, получил поэт свое первое имя, там мечтал при увенчании получить и второе. Но обстоятельства обернулись против него, и, хотя слава Данте была такова, что стоило ему сказать слово, и его где угодно увенчали бы лаврами (а они если и не прибавляют учености, то, во всяком случае, свидетельствуют об уже приобретенной и служат высшей наградой за нее), он хотел принять их лишь во Флоренции, все ждал, когда же ему можно будет вернуться на родину, и умер, не дождавшись ни возвращения, ни столь желанных ему почестей. А теперь, так как люди часто просят объяснить им, что такое поэзия и кого называют поэтами, откуда происходят эти названия и почему поэтов венчают лаврами, я считаю нужным сделать здесь отступление и посылить ответ на эти вопросы, ибо до сих пор мало кто вдавался в подобные объяснения, а затем без отлагательств вернуться к предмету моего повествования.

Хотя древние люди в древние времена отличались невежеством и грубостью, им было присуще то же стремление, какое мы видим у любого нашего современника — пылкое стремление с помощью знаний постичь истину. Они видели, что движение небесного свода свершается по вечным и неизменным законам, что и на земле все происходит в заведенном порядке и у каждого времени года свои приметы, и рассудили, что непременно должно существовать нечто, давшее всему начало и всем управляющее, некая никому не подвластная верховная власть. И, сделав такой вывод из многих своих усердных наблюдений, они назвали это начало начал *Божеством*, или *Богом*, и решили, что ему следует поклоняться, служить, угождать, как никакому смертному существу. В честь этой верховной силы они воздвигли богатые и просторные здания, отличные от обыкновенных людских жилищ, и название им дали тоже отличное — не дома, а *храмы*. И еще они придумали избрать особых служителей для этих храмов, служителей, годами, мудростью и правами вызывавших всеобщее уважение, избавленных от мирских забот, занятых лишь поклонением божеству и потому окруженных благоговейным почетом, и стали именовать их *священнослужителями*. Сверх того, дабы воплотить свои представления о сути божественного начала, они изваяли множество дивных и несхожих между собой статуй, а для служения в храме изготовили золотую утварь, и мраморные столы, и пурпурные одежды, и другие принадлежности, потребные для установленных жертвоприношений. Полагая, что верховной этой силе нельзя воздавать почести в немоте и молчании, они стали придумывать благолепные слова в надежде с их помощью умягчить ее и склонить на свою сторону. Веруя, что возвышенностью своей божество превосходит все сущее, они избегали простонародных и будничных слов и старались подобрать слова, достойные молитв, обращенных к нему, и полные восторженной хвалы. А чтобы эти слова стали еще неотразимее, они сочетали их, следуя законам ритма, изгоняющего однообразие и резкость звучания и придающего речи особую приятность. Разумеется, для этого не годились те формы, которые в ходу при обыденных разговорах, а нужна была особая, искусная и утон-

чепная форма, названная греками *поэтической*; вот почему слова, облеченные в эту форму, именуется *поэзией*, а люди, которые устно и письменно облачают их в нее, — *поэтами*. Таково, на мой взгляд, происхождение слов поэзия и поэты, хотя существуют и другие толкования, и, возможно, вполне основательные, но мне они не столь по душе. Разумное и достохвальное богопочитание, распространенное в те древние времена, побудило иных людей, жаждавших снискать славу среди все растущего населения, к сочинению небывальщизны, так что народы, сперва поклонявшиеся одному божеству, стали поклоняться многим, хотя одно из них почитали главным — Солнце, или Луну, или Сатурна, или Юпитера, или любую из семи планет, утверждая, что как раз это божество особенно влияет на ход человеческой жизни; еще позже обожествили все, что полезно человеку, даже и бытовавшее на земле — огонь, воду, самую землю и прочее, — и всему этому посвящали стихотворные восхваления, и оказывали почести, и приносили жертвы. А потом с помощью разных хитроумных уловок начали то тут, то там возвышаться над темным народом отдельные люди, и они разрешали распри своих соплеменников, но не по писаным законам, ибо таковых еще не существовало, а следуя чувству справедливости, которым одни всегда больше одарены, чем другие, и старались ввести строгий порядок в общую жизнь и обыкновения, ибо наделены были здравым рассудком и не гнушались пускать в ход телесную силу, чтобы оградить себя от возможной опасности, и нарекали себя царями, и появлялись перед простолюдинами только в сопровождении слуг и в таких уборах, каких прежде никто не выдвигал, и требовали полного повиновения себе, а потом и божеских почестей. И целый народ, не ропща, склонялся перед такими людьми, ибо, являясь в столь пышном облачении невежественной толпе, они поистине казались ей небожителями. Не полагаясь на одну лишь силу, эти владыки начали умножать народные суеверия, дабы вселить в подданных трепетный страх и, вырвав у них клятву в верности, принудить к тому, к чему не смогли бы принудить прямым насилием. А чтобы народ еще больше почитал и боялся их, они задумали обожествить своих отцов, и дедов, и пращуров. Но тут им было не обойтись без помощи поэтов, и те, желая прославиться, угодить повелителям, развлечь подданных и приучить всех к благонаравию, понимая также, что

неприкровенные речи возымеют обратное действие, прибежали к искусным и сложным иносказаниям, непонятным простому народу как встарь, так и ныне, и таким путем внушали ему все угодное владыкам и воспевали и новых богов, и новых владык, якобы ведущих род от этих выдуманных богов, тем высоким слогом, каким в древности возносили хвалу лишь истинному Богу. Постепенно поэты стали уподоблять деяния сильных мира сего деяниям божеств и складывали величавые песни о сражениях и подвигах равно тех и других; по сию пору предметы эти вдохновляют поэтов и служат пицей для их творений. Но так как многие непросвещенные люди убеждены, будто в поэзии нет ничего, кроме вымысла, я хочу, вдобавок ко всему изложенному, коротко объяснить, как велико ее сходство с теологией, а уж потом скажу, почему поэтов венчают лаврами.

XXII. В ЗАЩИТУ ПОЭЗИИ

Если прилежно вдуматься в этот вопрос, то, кажется мне, нетрудно обнаружить, что древние поэты следовали, насколько это в человеческих силах, по пути, предуказанному святым духом, который, как мы видим из Священного писания, открывал грядущим поколениям высокий свой промысл устами многих смертных, внушая им вещать таинственными словами то, что со временем вознамеревался, сняв покров тайны, явить прямыми деяниями. Внимательно приглядевшись к творениям поэтов, мы убедимся, что подражатели не так уж далеки от образца, ибо под покровом вымысла они повествуют о том, что случилось некогда, либо происходило при них, либо, по их предвидению или желанию, должно произойти в будущем; вот почему, если говорить не о конечной цели, а лишь о приемах изложения, а как раз это я сейчас и делаю, то хвалебное слово Григория Великого можно в равной мере отнести и к Священному писанию, и к поэзии. Он говорит о Писании — но разве не относится это и к поэзии? — что в нем всегда заложен и прямой смысл, и другой, сокровенный, поэтому и мудрому есть над чем задуматься, и простодушному — чем укрепиться, ибо там содержится явное, питающее даже и малых детей, и тайное, преисполняющее восхищения разум просвещенных мыслителей. И да позволено будет уподобить их обоих реке, глубокой

и спокойной, которую перейдет вброд маленький ягненок и переплывет огромный слон. А теперь попробую доказать это утверждение.

Священное писание, именуемое нами теологией — под видом ли иносказания, или пророческого видения, или скорбного плача, или еще как-нибудь, — вещает нам о высоком таинстве воплощения божественного глагола, о его жизни, и обо всем, что сопутствовало его смерти, и о победном воскресении из мертвых, и о чудесном вознесении, и обо всех его деяниях, дабы, наставленные на путь истинный, мы причастились благодати, которую он даровал нам, пойдя на смерть за нас, а потом воскреснув, благодати, надолго отторгнутой от нас из-за грехопадения нашего прародителя. Точно так же поэты в своих творениях, называемых нами *поэзией* — порою под видом сказаний о богах и многообразных превращениях людей, а порою в форме красноречивых увещаний, — показывают причины различных событий и следствия добрых и дурных дел, поощряют одно и предостерегают от другого, дабы, проникшись благими чувствами, мы достигли той цели, в которой помянутые поэты, хотя еще и не постигшие истинного Бога, тем не менее видели конечное наше спасение. В образе тернового куста, где Моисей узрел Бога, подобного пламени огня, святой дух пожелал явить нам чистоту той, что, будучи непорочнее всех других смертных жен, предназначалась воспринять в лоно свое вседержителя, зачать и произвести на свет божественный глагол, не утратив при том целомудрия. Он пожелал в образе привидевшейся Навуходоносору статуи, слитой из многих металлов и поверженной наземь камнем, который затем превращается в великую гору, показать, как обрушились древние верования людей после рождества Христа, который был и есть животворный камень, и как утвердилась Христова вера, нестремимая и неколебимая, как гора. Он пожелал плачем Иеремии возвестить о будущем разрушении Иерусалима.

Точно так же и в сказаниях о боге Сатурне, который будто бы породил множество детей, а потом всех пожрал, и только четверо остались в живых, поэты изображают Время, ибо оно порождает все сущее и, породив, губит и обращает во прах. Четверо детей, не пожранных им, это, во-первых, Юпитер, то есть стихия огня; во-вторых, Юнона, сестра и супруга Юпитера, то есть стихия воздуха, вечная пособница огня; в-третьих, Нептун, бог моря, то

есть стихия воды; и, наконец, в-четвертых, Плутон, бог преисподней, то есть земля, самая изменчивая из стихий. А в вымысел о Геракле, который якобы был вознесен на Олимп и обрел бессмертие, и о Ликаоне, обращенном в волка, они вкладывают правоучение: кто совершает благие подвиги, как Геракл, тот уподобляется богам, а кто поступает дурно, как Ликаон, тот, хотя и сохраняет людское обличье, на деле ничем не отличается от зверя, который, по нашим понятиям, воплощает пороки этого человека; поэтому алчный и свирепый Ликаон превращается в волка. И так же вымыслили поэты красоту Елисейских полей, означающую райское блаженство, и мрак Дита, под которым, я полагаю, они разумели муки преисподней, дабы мы, прельщенные сладостью райской жизни и напуганные ужасами ада, следовали по стезе добродетели, ведущей в Елисейские поля, и бежали порока, низвергающего в Дит. Не стану умножать примеры, потому что, имея я даже возможность так развить и подкрепить мои доказательства, чтобы они всем пришлись по душе и показались убедительными, все равно я воздержался бы от этого, боясь слишком отойти от главной темы. Мне кажется, я и без того ясно показал, что теология и поэзия несколько не рознятся по форме изложения, притом что сутью своей они не только различны, но во многом противоположны: предмет священной теологии — божественная истина, предмет древней поэзии — языческие боги и люди-язычники. Они противоположны, потому что теология утверждает лишь то, что истинно, а поэзия порою выдает за истину то, что ошибочно, ложно и противоречит христианскому учению. Но иные цевезды мечут громы и молнии против постов, заявляя, что сочинения их, мол, непристойны, вредны и не содержат ни крупинцы правды, что дарование свое они растрачивают на пустые выдумки, а учение не стыдятся излагать в форме сказок; поэтому я и хочу немного продолжить свое рассуждение.

Пусть эти люди перечитают видения хотя бы Даниила, Исая, Иезекиила и других, ниспосланные Предвечным Владыкой и начертанные в Ветхом Завете боговдохновенным пером. Пусть перечитают в Новом Завете видения евангелиста, полные для разумеющих дивной истины, и если мне укажут поэтическое творение, более несовместное не только с правдой, но и с правдоподобием, нежели кажется на поверхностный взгляд многое привидевшееся

свапгелисту, я припзнаю, что и впрямь одни лишь поэты сочиняют небылицы, ибо не способны ни на что более приятное и полезное. Конечно, я мог бы пренебречь хулиателями, бранящими поэтов за то, что они излагают свое учение в виде или под видом сказок, ибо столь глупые и неосторожные нападки попутно затрагивают и святого духа, который есть Путь, Истина и Жизнь; тем не менее все же попробую их переубедить. Давным-давно известно, что добытсе в поте лица пам дороже, чем само идущее в руки. Очевидная истина, которую мы усваиваем с палету, доставляет нам удовольствие и легко запоминается. Но так как достигнутая с трудом доставляет еще больше удовольствия и еще тверже запечатлевается в памяти, поэты облакают се в различные покровы, иной раз как будто вовсе ей не идущие, и сказку предпочитают всем другим, потому что красоты этой формы привлекают читателей, в том числе и тех, которые отвернулись бы от проповедей и философских рассуждений.

Итак, что же мы скажем о поэтах? Согласимся ли, что они — малоумные, как нынче утверждают неразумные, которые сами не ведают, что болтает их язык? Конечно, нет! Поэтические творения полны глубочайшего смысла, который подобен укрытому в листве плоду, меж тем как форму этих творений, красноречивую и богато украшенную, можно сравнить с древесной корой и листьями. Но довольно отступлений. Повторяю — если бы теология и поэзия трактовали один и тот же предмет, они были бы во всем схожи; скажу больше: теология — это поэзия, воспевающая Бога. Когда в Писании Христос именуется то львом, то агнцем, то червем, то драконом, то камнем — разве эти и другие именованя, а их бесчисленное множество, не суть поэтические образы? А слова Спасителя в Евангелии — разве это не иносказания, или, как мы чаще говорим, *аллегории*? Из этого следует, что не только поэзия подобна теологии, но и теология подобна поэзии. Если мое рассуждение о столь важном предмете никого не убедит, я, разумеется, не буду в обиде, но посоветую в таком случае прислушаться хотя бы к Аристотелю, чье мнение во всех серьезных вопросах заслуживает величайшего внимания; так вот, он утверждает, что поэты и были первыми теологами. И довольно об этом; пора перейти к объяснению, почему из всех людей, посвятивших себя учебным занятиям, только поэты удостоиваются лаврового венка.

Считается, что среди многочисленных народов, населяющих землю, греки были первые, кому философия открыла свой лик и свои тайны; из ее сокровищницы они почерпнули военную науку, политическую премудрость и многое другое, не менее драгоценное, поэтому стали так знамениты и почитаемы. В числе прочих сокровищ было и превосходное изречение Солона, которым я предварил эту книжицу. Государство, чьим гражданином он был, процветавшее в ту пору более всех прочих, твердо стояло и ходило на двух ногах, ибо строго следило за тем, чтобы виновные цесли должную кару, а достойные получали награду. Величайшей из установленных наград было происходившее при всем народе и со всеобщего согласия увенчание лаврами поэтов, успешно завершивших свой труд, и полководцев, победоносно расширивших пределы отчизны, ибо считалось, что одинаковой славой осенен и тот, чьей доблестью сохранены и приумножены земные владения, и тот, чей гений проник во владения духовные. Итак, греки первые изобрели эту почесть, а потом, когда воинские подвиги вознесли на вершину мировой славы римлян, они в свою очередь переняли греческий обычай, и до сего дня в Риме происходит увенчание лаврами; правда, теперь венчают только поэтов, да и то очень редко. Вот почему я считаю нелишним рассказать здесь, как случилось, что листьям лавра отдали предпочтение перед всеми другими.

XXIV. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭТОГО ОБЫЧАЯ

Существует предание, что Феб, родоначальник поэтов, их покровитель и вместе с тем их победитель на всех состязаниях, полюбил нимфу Дафну; когда она превратилась в лавровое дерево, Феб, в знак любви к ней, стал носить лавровый венок, и украшать лавровыми листьями лиру, на которой играл, и венчать ими стихотворцев, одержавших верх над соперниками. Люди будто взяли пример с Феба — потому-то донныне поэтов и полководцев венчают лаврами. Я не отвергаю этого объяснения, не называю его вздорным, но мне по душе другое толкование — сейчас я его изложу. Ученые, исследующие природные особенности растений, среди прочих свойств лавра числят три самых

примечательных и цепных: первое и всем известное свойство состоит в том, что его вечнозеленая листва никогда не опадает; второе — что, по многим наблюдениям, молния, поражая другие деревья, неизменно щадит лавр; третье, тоже всем известное, — что он источает сильное благоухание. Из-за этих трех свойств лаврового дерева древние зачинатели помянутого обычая и выбрали его листья для увенчания поэтов, создавших замечательные произведения, равно как и победоносных полководцев. Во-первых, говорили они, вечнозеленая листва лавра означает, что вовеки не увянет слава тех, чьи творения удостоились или удостоятся лаврового венка; во-вторых, как небесная молния не касается лавра, так молния зависти или пламя всеистребляющего времени не коснутся этих нетленных творений, и, наконец, в-третьих, они никогда не утратят ни своей занимательности, ни красоты, и все будущие читатели и слушатели ощутят их благоуханную прелесть. Посему именно лаврами следует венчать людей, чьи труды, насколько нам дано судить, свойствами своими сходны с ними. Так что не без причины наш Данте страстно стремился к этой почести, иными словами — к признанию великих своих свершений, а свидетельством такого признания и является лавровый венок, украшающий чело достойного. Но вернемся к предмету, от которого нас отвлекли эти рассуждения.

XXV. ХАРАКТЕР ДАНТЕ

Вдобавок к свойствам уже перечисленным наш поэт отличался высокомерием и заносчивостью, и вот этому пример: по настоянию Данте, некий его друг начал разузнавать, пельзя ли ему возвратиться во Флоренцию — а это было самое горячее желание поэта, — но тогдашние правители города поставили непременно условием требование, чтобы Данте провел назначенный срок в темнице, а потом, во время какого-нибудь всенародного праздника, смиренно встал, как кающийся грешник, у входа в главный наш храм, и только после этого ему предоставят свободу, не подвергнув прочим, заочно наложенным наказаниям. Считая, что такой кары заслуживают только люди низменные и гнусные, Данте поставил крест на заветной своей мечте и жизнь в изгнании предпочел подобному возвращению в отчий дом. О благородное сердце, исполненное достохвальной гордости, сколько мужества понадобилось

тебе, чтобы подавить в себе страстное стремление вернуться на родину и не вступить на путь, унижительный для человека, вскормленного философией! По свидетельству современников, он и в других случаях вел себя как человек, проникнутый сознанием собственного достоинства и знающий истинную цену себе; особенно это его свойство проявилось однажды, в ту пору, когда он вместе со своей партией стоял во главе государства. Флорентийским правителям стало известно, что их побежденные противники, прибегнув к посредничеству папы Бонифация VIII, призывают Карла — не то брата, не то родича тогдашнего французского короля Филиппа — навести порядок во Флоренции, и все они собрались на совет, чтобы вместе подумать, как быть, и среди прочих мер предосторожности решили отправить посольство к папе, чей престол был тогда в Риме, и уговорить его либо воспрепятствовать походу Карла, либо побудить того вступить в переговоры с ними. Когда дело дошло до выбора главы посольства, все единодушно называли Данте. На это он как бы про себя произнес: «Если я поеду, кто же останется? А если останусь, кто же поедет?» — точно он один среди всех был значительнее, остальные же обретали значительность только через него. И они поняли и запомнили его слова, но то, что явилось их следствием, не имеет сюда отношения, и я не буду на этом останавливаться.

Еще надо добавить, что сей доблестный муж проявлял редкостную стойкость во всех своих злоключениях и лишь в одном был не то неуступчив, не то пристрастен, уж не знаю, какое слово подобрать, а именно в том, что касалось политических дел; будучи в изгнании, он проявлял в этих вопросах горячность большую, чем подобало такому человеку, — недаром он пытался скрыть это свое свойство. А чтобы всем стало понятно, какой партии Данте был так страстно и упрямо привержен, я немного подробнее расскажу об этом.

По моему убеждению, Тоскана и Ломбардия навлекли на себя праведный гнев божий, поэтому с давних пор они разделены на две партии: откуда пошли названия этих партий, я сказать не могу, но одни именуют себя *гвельфами*, а другие — *гибеллинами*. И такую неотразимую власть обрели эти названия над бедными людскими умами, что, защищая свою партию от противной, многие люди готовы были пожертвовать не только имуществом, но даже и самой жизнью. Из-за этих-то названий итальян-

япские города претерпели множество тяжких бед и междоусобиц, в том числе и наш город, где главенствовала то одна партия, то другая, смотря по тому, чьи мнения одерживали верх; таким образом, предки Данте, принадлежавшие к партии гвельфов, дважды были изгнаны на чужбину гибеллинами; он стоял у кормила власти во Флоренции тоже в качестве гвельфа. Выше было уже сказано, что изгнали его не гибеллины, а сами же гвельфы, и вот, когда Данте увидел, что ему нет возврата на родину, его образ мыслей так круто переменился, что он возненавидел гвельфов и сделался самым рьяным сторонником гибеллинов. Совестно мне бросать тень на его память, но не могу не рассказать того, о чем знала вся Романья: когда Данте слышал, что какая-нибудь глупая женщина или несмышленный мальчишка, болтая о партийных распрях, бранит гибеллинов, он приходил в столь пенстовую ярость, что, если они не умолкали, готов был забросать их камнями. И с этой ненавистью в душе он прожил до самой своей кончины. Да, мне совестно омрачать славу такого человека упоминанием о его недостатках, но этого требует самый мой замысел, потому что, если я умолчу о непохвальных его свойствах, никто не поверит и моему рассказу о похвальных. И я прошу прощения у него, презрительно взирающего, быть может, сейчас с небесных высот на меня, пишущего эти строки.

Я уже говорил, каким вместилищем добродетелей и познаний был наш изумительный поэт, и вместе с тем он чте только смолоду, но и в зрелые годы отдавал дань любо-страстию. Хотя этот порок очень распространеп, обычен и, более того, как бы соприроден людям, невозможно не только его одобрить, но и приискать ему хоть какос-то оправдание. Но кто из смертных столь безгрешеп, что осмелится осудить поэта? Уж во всяком случае не я. О слабость, о скотская похотливость мужчин! Если над нами властны жепцины, вовсе и не падкие до этой власти, то как же властны те, что к пей стремятся! Мужские сердца не в силах устоять против их прелести, красоты, сладострастия и многого другого — не будем вспоминать, на какие дела Европа толкнула Юпитера, Иола — Геракла, Елена — Париса, ибо неразумные люди назовут эти поэтические иносказания выдумками, но обратимся к доказательствам, которые никто не посмеет опровергнуть. Не единственной ли в мире женщиной была Ева, когда, поддавшись ее пскусительным уговорам, наш праотец

Адам нарушил запрет, исходивший из уст самого Господа Бога? Да, она была единственной. А Давид, у которого было столько жен, — разве при виде Вирсавии не забыл он и всевышнего, и свое царство, и свою честь, и самого себя, разве не стал сперва прелюбодеем, а потом убийцей? Разве не исполнил бы любого ее требования? А Соломон, мудрейший из всех, не считая сына божьего, разве не предал он того, кто наградил его этой мудростью, разве в угоду женщине не преклонил колен перед Ваалом, не восславил кумира? А злодеяния Ирода и многих других, побуждаемых одной только жаждой сделать угодное женщине? Среди стольких знаменитых мужей наш поэт заслуживает если не прощения, то хотя бы большего снисхождения, чем если бы распутством грешил он один. И на этом кончаю рассказ о характере Данте, ибо самые примечательные его свойства я уже перечислил.

XXVI. ТВОРЕНИЯ ДАНТЕ

Творения этого славного поэта так многочисленны, что, полагаю, необходимо составить их перечень, дабы ненароком не приписать потом сочиненного им другому поэту или, напротив, чужих сочинений — ему. Когда Данте оплакивал свою Беатриче и было ему двадцать шесть, он собрал все свои написанные в разные годы стихотворные творения, прекраснейшие сонеты, канцоны и другие, и выпустил их в свет небольшой книжицей под заглавием «Новая жизнь», предпослав каждому стихотворению подробное объяснение, когда и на какой случай оно было написано, а внизу поместив указание, из скольких частей состоит. Хотя в зрелые годы Данте очень стыдился этой книжечки, надо признать, что, сочиненная столь юным поэтом, она все же полна красот и будет правиться читателям, особенно не слишком искусственным. Через несколько лет после обнародования этого сборника, будучи уже на вершине государственной власти, он окинул взором все, что открывается с подобных высот, и увидел, какова жизнь людей, в какие заблуждения они обычно впадают, как мало идущих по пути истины, каких наград достойны эти немногие и какие беды готовят себе те, что, уклонившись от него, вновь поспешают вослед за чернью; осуждая занятия этих последних и ставя в пример свои собственные, Данте был оснец величавой

мыслью: в одно и то же время, вернее, в одном и том же творении наказать тягчайшими карами грешников и одарить бесценнейшими наградами добродетельных и, вложив в этот труд весь свой гений, заслужить бессмертную славу. Я уже говорил, что поэзию Данте предпочитал всем другим ученым занятиям, поэтому он и решил облечь свой замысел в поэтическую форму. Он долго его вынашивал и на тридцать пятом году жизни приступил наконец к воплощению замысленного, то есть к рассказу о том, каких наград и кар заслуживает жизнь многообразных людей. Зная, что люди бывают лишь трех родов — грешники, или грешные вначале, но потом устремившиеся к добродетели, или добродетельные, — Данте с замечательным искусством разделил свое произведение, названное им «Комедия», на три части — в первой он бичует пороки, в последней награждает добродетель. Как легко убедиться, каждую книгу поэт разделил на песни, каждую песню, в свою очередь, — на рифмованные строфы; при этом «Комедия» написана на народном языке так искусно и красиво, с такой удивительной правильностью, что еще никому не удалось хотя бы в чем-нибудь ее превзойти. Несравненное мастерство этой поэмы могут по достоинству оценить лишь те, кому дано понять ее во всех тонкостях. Каждый знает, что немислимо с налету постичь великое, кто ж усомнится, что тем паче немислимо в короткий срок создать в рифмованных стихах на народном языке столь возвышенную, величавую, полную глубочайших мыслей поэму, где были бы показаны все людские злые и добрые деяния, особенно если жизнь ее создателя изобилует превратностями, отравлена горечью, омрачена страданиями (а именно такой, как я уже говорил, была жизнь Данте); вот почему, взявшись за этот славный труд, он занимался им до самой кончины, хотя и написал в то же время, как будет видно из дальнейшего, еще и другие произведения. А теперь уместно сказать несколько слов о событиях, сопровождавших начало и конец работы над этим творением.

Когда Данте с головой погрузился в свой достохвальный труд и уже написал семь песен первой книги, озаглавленной «Ад» и построенной на поразительном вымысле, но не языческом, а чисто христианском, чему прежде не существовало ни единого примера, так вот, в это время произошли события, которые привели его к горестному изгнанию, правильнее сказать, к бегству из Флоренции, после чего он, бросив на произвол судьбы все

свое имущество и среди прочего — начатую поэму, много лет скитался, живя поочередно то у кого-либо из друзей, то при княжеских дворах. Но, как долженствует нам препредложно верить, Фортуна не в силах помешать исполнению воли божией и, какие бы препоны она ни чинила, рано или поздно предуказанное свершается. Так было и на этот раз. Некий человек, надеясь, быть может, найти бумаги, обеляющие поэта, рылся в его сундуках, в последнюю минуту укрытых в тайнике от буйства ворвавшейся в дом неблагодарной толпы, жаждущей скорее поживы, нежели справедливой мести, и в одном из этих сундуков он наткнулся на помянутые выше песни, прочел все семь с великим восхищением и, не зная, кто их автор, решил похитить исписанные листы, ловко исполнил задуманное, затем, поскольку песни так ему понравились, показал их нашему флорентийцу по имени Дино ди Ламбертуччо, известнейшему в городе стихотворцу. Дино, будучи человеком обширного ума, поразился не мепес, нежели тот, кто принес ему эти песни, красотой, совершенством и богатством их слога, а также глубиной мыслей, которые угадал под прекрасной оболочкой слов; это, а также место, где были спрятаны песни, породило в обоих уверенность, что автором их может быть только Данте, и, как мы знаем, они не ошиблись. Горюя о том, что такое творение не завершено, теряясь в догадках, каков должен быть его конец, они сговорились разузнать, где обретается Данте и, отослав ему находку, попросить, если будет у него возможность, довести до конца столь замечательно начатый труд. Вскорости им стало известно, что Данте живет у маркиза Моруэлло, и они написали о своем желании, но не самому Данте, а маркизу, и к письму приложили песни; тот прочел и, отличаясь отменным вкусом, тоже пришел в восторг, потом показал их Данте и спросил, не знает ли он, чье это творение, на что поэт, едва взглянув на листы, сказал, что его собственное. Тогда маркиз стал упрашивать его не оставлять без завершения столь необыкновенное начало. «Я был убежден, — сказал Данте, — что в постигшем меня крушении вместе с другими моими сочинениями погибли и первые песни новой поэмы, и эта уверенность, а также множество забот, причина которых — изгнание, побудили меня поставить крест на высоком замысле, положенном в основу поэмы, по раз уж судьба столь неожиданно вернула мне ее начало и вам оно поправилось, попытаюсь вспомнить некогда обдуманый

мною план п, буде па то воля небес, воплотить его в стихи». Спустя какое-то время он вернулся, хотя и без труда, к прерванному сочинению и написал:

Скажу, продолжив, что до башни этой, и т. д.

Внимательный читатель сразу обнаружит, что как раз в этом месте Данте возобновил работу над поэмой. Итак, он снова взялся за свое дивное творение, но это не значит, как думают некоторые, что больше не отрывался от него: нет, еще много раз то на месяцы, а то и на годы, смотря по тягости обстоятельств, поэт бросал «Комедию» на середине, ибо не мог написать ни строчки, и дело двигалось так медленно, что смерть настигла его прежде, нежели он опубликовал всю поэму. Где бы Данте ни находился, сочинив семь или восемь песен — иногда больше, иногда меньше, — он, прежде чем кому-нибудь показать, непременно отправлял их на прочтение мессеру Кане делла Скала, которого уважал превыше всех других, и только после этого снимал копии для желающих. Данте успел отослать мессеру Кане всю поэму, кроме последних тринадцати песен, — их он написал, но не отправил, ибо внезапно умер. Он даже не указал, где они хранятся, и сыновья поэта вместе с его учениками много месяцев подряд искали в бумагах, нет ли там окончания поэмы, но ничего не находили, и все друзья Данте сокрушались, что всевышний не дал ему еще хоть немного пожить и дописать самые последние песни «Комедии», но от дальнейших поисков отказались, ибо уже не надеялись что-либо найти.

Сыновья Данте, Якопо и Пьеро, оба стихотворцы, сдавшись на уговоры добрых знакомцев, решились довершить, в меру своих сил, родительское творение, чтобы оно не оставалось неоконченным, но тут Якопо, более, нежели Пьеро, преданный памяти отца, увидел чудесный сон, который не только отвратил его от глупого и самонадеянного замысла, но и навел на след недостающих тринадцати песен божественной «Комедии», запропастившихся неведомо куда. По словам Пьеро Джардино, достойного гражданина Равенны и давнего ученика Данте, ровно через восемь месяцев после смерти поэта, на исходе ночи, в тот час, который зовется *брезгом*, к нему домой прибежал выпешазванный Якопо и рассказал, что ему во сне явился его отец Данте, и на нем были белоснежные одежды, а лик его сиял нездешним светом; Якопо спросил, живой ли он, и услышал в ответ, что да,

живой, но теперь ему дана истинная жизнь, отличная от нашей; и тогда сын спросил, успел ли он кончить свое творение до того, как воскрес для истинной жизни, и если успел, то где спрятаны песни, которые они столько времени тщетно ищут. Данте будто бы снова ответил: «Да, окончил», — и, взяв Якопо за руку, повел в горницу, где всегда спал, и молвил, указывая на стену: «Здесь вы найдете то, что ищете». И сразу после этих слов Данте исчез, а Якопо проснулся. И он сказал мессеру Пьеро, что поспешил к нему, дабы рассказать про этот сон, и немедленно начать поиски в указанном месте — а оно запечатлелось в памяти Якопо, — и проверить, вещь ли то было видение или бесовский морок. До утра было еще далеко, и они вдвоем пришли в дом Данте, в его спальню, и там увидели прилаженную к стене циновку; без труда сняв ее, они обнаружили небольшую нишу, которой прежде никогда не видели и даже не ведали о ее существовании, и в ней нашли рукопись, заплесневелую от сырости, — еще темного, и она безвозвратно погибла бы. Очистив ее от плесени и прочитав, Якопо и мессер Пьеро убедились, что у них в руках те самые тринадцать песен, которые они уже отчаялись найти. Вне себя от радости, они переписали их и, следуя обыкновению автора, прежде всего отослали мессеру Кане, а потом присоединили к остальным песням. Так было собрано воедино творение, над которым Данте трудился столько лет.

Немало людей, в том числе и наделенных глубоким разумом, задавались вопросом: почему такую великую и замечательную поэму, как «Комедия», к тому же трактующую возвышеннейший предмет, Данте, муж всеобъемлющей учености, написал на флорентийском наречии, а не отдал предпочтение, по примеру всех своих предшественников, латинским стихам? В ответ на этот вопрос я мог бы привести разные причины, но две из них мне кажутся особенно вескими. Первая причина, побудившая Данте обратиться к народному языку, состоит в том, что он хотел сослужить службу наибольшему числу своих сограждан и вообще итальянцев: изложи он поэму латинскими стихами, как писали до него, — польза от нее была бы только людям ученым, меж тем как, написав ее народным языком, поэт совершил небывалое дело, ибо, не отняв у знатоков возможности читать свое творение, показав красоту нашего языка и свое совершенное владение им, он вместе с тем приобщил к столь прекрасному

произведению людей необразованных, о которых до него никто и думать не хотел. Вторая причина заключается в следующем: убедившись, что свободные искусства перестали занимать умы его современников, особенно князей и прочих именитых людей, которым поэты обычно посвящают плоды своих трудов, и что вследствие этого божественные творения Вергилия и других замечательных поэтов не только в малом почете, но и в полном небрежении, он, в согласии с возвышенным своим предметом, начал поэму так:

*Ultima regna canam, fluido contermina mundo,
spiritibus quae lata patent, quae praemia solvunt
pro meritis cuicumque suis, etc.*

но дальше этих строк не пошел, понимая, что совать хлебные корки в рот, еще сосущий материнскую грудь, — занятие никчемное, и заново начал поэму, на этот раз слогом, который больше подходил вкусам его современников, и на народном языке. Как утверждают некоторые, Данте посвятил «Комедию» трем знаменитым итальянцам — каждому по одной из трех ее частей: первую часть, «Ад», — Угиччоне делла Фаджуола, пизанскому государю, прославленному во всей Тоскане; вторую, «Чистилище», — маркизу Моруэлло Малеспина; третью, «Рай», — сицилийскому королю Федерико III. Другие твердят, что он посвятил всю книгу мессеру Кане делла Скала, но ни те, ни другие ничем не подкрепляют своих слов, так что неведомо, кому верить, да и не так важен этот вопрос, чтобы в него вникать.

Кроме того, после вступления на престол Генриха VII папш достославный автор написал латинский трактат «Монархия» и разделил его на три части согласно трем трактующим в нем вопросам. В первой части он строго логически доказывает, что только империя дарует миру благоденствие — это первое его положение; во второй, основываясь на исторических событиях, объясняет, что Рим по праву именуется себя империей — это второе его положение; в третьей, прибегая к богословским аргументам, утверждает, что императорская власть исходит только от Бога, а не от его заместников, как заявляют некоторые священнослужители, — это третье его положение. Через несколько лет после смерти Данте трактат был запрещен кардиналом Бельтрандо дель Поджетто, ломбардским легатом папы Иоанна XXII. А причина запрещения заключалась вот в чем. Людовик, герцог Баварский, был избран немецкими курфюрстами королем

Римским и, против воли тогдашнего папы Иоанна, прпехал в Рим короноваться, и там, преступив церковные запреты, самовольно поставил папой Пьетро делла Корвара, монаха-францисканца, а также возвел многих церковников в кардинальский и епископский сан, после чего новоявленный папа возложил на него корону. Но право Людовика на власть много раз оспоривалось, и тогда, прознав о книге Данте, он и его сторонники обратили доводы нашего автора в защиту себе и своей власти, после чего книга, мало кому известная, обрела громкую славу. Но когда Людовик вернулся в Германию, а его приспешники, особенно из церковников, утратили влияние и были изгнаны, вышеназванный кардинал, решив, что никто не станет ему противиться, объявил трактат «Монархия» еретическим и предал его публичному сожжению. Подобную же расправу он готовил и оставкам автора и совершил бы ее, на веки вечные покрыв себя несмываемым позором, когда бы ему не воспротивился Пино делла Тоза, доблестный и благородный флорентийский рыцарь, оказавшийся тогда в Болонье, где все это происходило, а с ним вместе и мессер Остаджо да Полента, оба люди влиятельные в глазах помянутого кардинала. Кроме этого трактата, Данте сочинил две прекрасные эклоги в ответ на стихи, посвященные и присланные ему маэстро Джованни дель Вирджилио, о котором уже шла речь. Также написал он на флорентийском наречии прозаический комментарий к трем пространным канцонам и как будто намеревался снабдить таким же и все остальные, но то ли передумал, то ли у него не хватило времени, только никаких других комментариев он не оставил, а уже написанный озаглавил «Пир» — это маленькое сочинение достойно высокой хвалы. Уже незадолго до смерти он написал латинской прозой книжечку под заглавием «De vulgari eloquentia», предназначенную для тех, кто хотел бы изучить основы стихосложения; судя по всему, он собирался разделить ее на четыре части, но не то смерть прервала его работу, не то третья и четвертая части были утеряны, сейчас существуют только две первые. Среди большого числа латинских эпистол нашего превосходного автора иные до сих пор не утратили интереса. Сверх того он сочинил много пространных канцон, а также немало сонетов и баллат на темы любви и нравственности, не считая тех, что были им собраны в «Новой жизни», но разбирать эти сочинения я сейчас не намерен.

Вот этим перечисленным мною трудам отдавал паш достославный автор все то время, которое ему удавалось урывать у любовных скорбей, горестных дум, семейных и общественных забот, а также у своей враждебной и превратной судьбы, п труды эти куда более угодны Богу и людям, нежели обманы, мошенничества, издежки, воровство, подлоги — обычные дела наших современников, стремящихся разными путями к одной и той же цели, то есть к достижению богатства, словно в нем и только в нем заключены все блага жизни, все се величие, все счастье. О безмозглые слепцы, один краткий миг, отделив душу от брэнного тела, превратит в прах плоды вапних постыдных стараний, меж тем как время, в чьих недрах исчезает все сущее, либо вовсе сотрет память о богаче, либо если и сохранит ненадолго, то лишь к вящему его бесчестию. А вот с нашим поэтом этого не случится, напротив, имя его, отполированное временем, подобно клинку, побывавшему во многих боях, будет сиять все ярче и ярче. Так пусть себе гонится за пустыми призраками тот, кому это по вкусу, ему никто не станет препятствовать, но пусть не дерзает порицать того, чьи благородные деяния ему непостижимы.

XXVII. СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО

Я вкратце рассказал о происхождении, трудах, жизни, обычаях и творениях необыкновенного человека и знаменитого поэта Данте Алигьери, отступая порой от своей темы и касаясь других вопросов, и сделал это в меру способностей, отпущенных мне подателем всех благ. Знаю, что многие другие рассказали бы гораздо искуснее и глубокомысленнее, но кто дает все, что имеет, с того больше и не спросится. Я написал, как умел; это не накладывает печати молчания на людей, считающих, что напишут лучше, и если я допустил какие-нибудь ошибки, пусть они исправят их и скажут всю правду о нашем Данте, чего, насколько мне известно, до сих пор не сделал никто. Но мой труд еще не пришел к концу. Одно свое обещание, данное в этой книжечке, я не исполнил — не истолковал сна, который привиделся матери поэта, когда она послала его под сердцем; вот этот-то сон я объясню, как могу и умею, и на этом закончу свое повествование.

Будучи на сносях, эта благородная дама увидела во сне, будто лежит под высоким лавровым деревом, возле прозрачного родника, и там у нее рождается сын, который, утолив голод ягодами, падавшими с лавра, и напившись ключевой воды, вдруг, как я уже рассказывал, превращается во взрослого пастыря; этот пастырь хочет нарвать лавровых листьев, тянется за ними, но падает и исчезает из глаз, а на его месте появляется прекрасный павлин. И тут, пораженная этим чудом, благородная дама проснулась, и сладостный сон прервался.

XXIX. ТОЛКОВАНИЕ СНА

Всякий раз, когда природа, исполнительница божьего промысла, готовится создать еще небывалое среди смертных, всеблагий Господь, кому ab aeterno ведомо равно настоящее и будущее, обычно посылает нам в неизреченной своей доброте видение, или знак, или сон, вообще какое-нибудь знамение, дабы мы таким путем уразумели, что всякое знание исходит от творца вселенной. Поразмыслив, каждый поймет, что подобное знамение и было послано им в мир перед рождением поэта, о котором мы уже столько говорили. Но кто принял бы вещей сон с большей верой и любовью, нежели та, что должна была стать, вернее, уже стала матерью человека, которого этот сон касался? Разумеется, никто! Итак, ей было послано видение, а какое — ясно из предыдущего, но надобно в него вдуматься, чтобы правильно истолковать господне произволение. Благородной даме приснилось, что она произвела на свет сына и, правда, вскорости у нее родился сын. А теперь следует поразмыслить, что означает лавр, под которым она якобы родила его.

Астрологи и философы-натуралисты считают, что земные тела зарождаются, возрастают и, если тому не препятствует благий и неодолимый божественный промысел, существуют под влиянием небесных тел. Исходя из наблюдений, эти ученые утверждают, что чем выше стоит над горизонтом небесное тело, тем сильнее его воздействие, и что человек живет всю жизнь под знаком того светила, которое стояло выше других в час его рождения.

Поэтому высокий лавр, под которым мать Данте якобы родила сына, означает, по моему разумению, что волею неба этот ребенок должен был достичь вершин поэтического творчества и славы, ибо лавр, дерево Феба, знаменует и то, и другое — не даром, как я уже говорил, поэтов венчают лаврами. Что касается ягод, падавших с дерева и напитавших младенца, они, на мой взгляд, символизируют пищу, ниспосланную небом в подкрепление своей воли, о которой только что шла речь, — то есть книги стихов и заключенные в них познания, досыта напитавшие, или, другими словами, умудрившие нашего Данте. Прозрачная ключевая вода, которой он будто бы панился, видимо, представляет собой иллотворные уроки морали и натуральной философии: как источник бьет из неистощимых земных недр, так и эти уроки, открывающие нам причины и следствия, исходят из неопровержимых философских положений, которые я уподобил бы изобильным земным недрам; и как желудок не усваивает пищу, поглощенную нами всухомятку, так разум не способен воспринять знания, если они не выстроены в строгую систему логических доказательств. Таким образом, мы можем сделать вывод, что Данте переваривал в желудке, то есть в уме, поглощаемые им ягоды лавра, то есть поэзию, которую, как было уже сказано, он так прилежно изучал, записывая ее ключевой водой, иными словами — философией.

Внезапное превращение Данте в пастыря означает превосходство его разума, ибо, с неслыханной быстротой развившись, он в краткий срок овладел многими науками, необходимыми, дабы стать пастырем, то есть даятелем пищи всем, кто в ней нуждается. Каждый знает, что пастыри бывают двух родов: одни питают свою паству пищей телесной, другие — духовной. Питающие пищей телесной, в свою очередь, делятся на два рода: во-первых, те, кого мы в просторечии называем *пастухами*, то есть пасущие стада овец, коров и прочего домашнего скота, и, во-вторых, отцы семейства, которые кормят, оберегают и наставляют свою паству — детей, слуг, вообще тех, кто поручен их заботам. Духовные пастыри также делятся на два рода: во-первых, на тех, что питают людей словом Божиим — прелатов, проповедников, священнослужителей, которым падлежит радеть о неустойчивых душах своих опекаемых; во-вторых, на тех, что много знают и, либо чтением книг, написанных в былые времена, либо сочинением своих собственных на темы, прежде, по их

мнению, неясно изложенные или вовсе незатронутые, просвещают дух и разум слушателей и читателей, — этих людей, какой бы областью знания они ни занимались, обычно именуют учеными. Таким пастырем сразу или очень быстро и сделался наш поэт. Чтобы убедиться в этом, нам нет нужды рассматривать все его труды, довольно и внимательного чтения «Комедии», ибо ее красота и прелесть таковы, что служат пищей не только мужчинам, но и женщинам, и даже детям, а глубочайшие мысли, облеченные в чудесно-сладостную форму, радуют и насыщают самые возвышенные умы, сперва заставив их пзрядно потрудиться.

Стремление Данте нарвать листьев с дерева, его питавшего, означает уже упомянутое страстное желание поэта быть увенчанным лаврами, желание, вызвавшее лишь тем, что листья эти как бы свидетельствуют о плодах, которыми он одарил мир. По словам его матери, он упал, когда с особенной жадностью тянулся за листьями; падение это есть то последнее неизбежное падение, которое суждено нам всем, то есть смерть, — и впрямь, кто со вниманием прочел эту книжку, тот помнит, что Данте умер как раз тогда, когда особенно жаждал лаврового венка.

Дальше она рассказывала, что ее сын внезапно превратился в павлина, а это можно понять как бессмертную славу, которую Данте стяжал всеми своими творениями, но в первый черед «Комедией», чьи свойства разительно похожи на свойства павлина — таково мое глубочайшее убеждение. Вот четыре неотъемлемых черты, которые среди прочих особенно отличают павлина. Первая — ангельское оперение, усеянное сотней глаз; вторая — безобразные ноги и бесшумная поступь; третья — ужасный для слуха голос и, наконец, четвертая — благоуханное и не поддающееся порче мясо. Эти четыре черты присущи и «Комедии», но так как мне затруднительно придерживаться порядка, в котором я только что перечислил свойства павлина, сейчас я буду говорить о них, не соблюдая этой последовательности, и начну с конца.

Я утверждаю, что смысл «Комедии» подобен мясу павлина, ибо, с какой бы точки зрения ни рассматривать любой взятый паобум отрывок поэмы — с нравственной или теологической, — он всегда содержит простую и нерушимую истину и, значит, не только не подвержен порче, но чем больше в него вникаешь, тем явственнее ощущаешь его нетлепную и благоуханную прелесть. Я без

труда мог бы привести множество примеров в подкрепление моих слов, но это не входит в мою задачу, так что не приведу ни одного — пусть люди понимающие отыщут их сами. Тело павлина покрыто ангельским оперением; я говорю *ангельским* вовсе не потому, что знаю, какое оперение у ангелов, и вообще есть ли оно у них, просто я слышал, будто ангелы летают, и рассудил, как всякий смертный на моем месте, — раз так, значит, опи пернатые, а поскольку ни у одной земной птицы нет оперения прекраснее и необычайнее, чем у павлина, я и заключил, что оно — ангельское, притом что никогда бы не назвал оперения ангелов павлиньим, ибо ангел — птица куда более благородная, нежели павлин. Это восхитительное оперение означает, на мой взгляд, необычайную красоту поэмы, от первого ее стиха до последнего: описание спуска в ад, самого ада и тех, кто томится там в разных кругах; подъем в гору и рассказ о чистилище, о раскаянии и слезных пеплах чающих причисления к лику святых; восхождение в райскую обитель и повествование о пескончаемом блаженстве божьих избранников — все это и прекраснее, и необычайнее любого созданного до сих пор устного или письменного творения. В «Комедии» ровно сто песен, как, по утверждению знатоков, на хвосте павлина насчитывается сто глаз, и песни эти отражают многообразие тем, затронутых в поэме, подобно глазам, отражающим неисчислимы краски и предметы внешнего мира. Так что тело нашего павлина и впрямь покрыто ангельским оперением. Ноги его безобразны, а поступь бесшумна, и это тоже полностью соответствует особенностям поэмы, ибо как тело опирается на ноги, так *prima facie* очевидно, что любое поэтическое творение опирается на тот язык, на котором оно написано, а народный итальянский язык, несущий на себе тяжесть всех сочленений «Комедии», поистине безобразен в сравнении с высокой и торжественной латынью, на которой писали все прочие поэты, и, однако, больше подходит нашим нынешним вкусам, нежели любые другие самые великолепные языки. Неслышная поступь павлина говорит о смиренности, которым должно быть проникнуто произведение, подлинным образом озаглавленное, — это поймет всякий человек, знающий, что означает слово «комедия». Наконец, я сказал, что голос павлина ужасен для слуха, меж тем как стихи нашего поэта, на первый взгляд, сладкозвучны, но если вдуматься в их сокровенный смысл, мы убедимся,

что относящееся к павлипу относится и к поэме. Чей голос звучит страшнее, нежели голос поэта, когда он, дав простор жестокой своей фантазии, бичует преступления живых, или карает умерших, или гневно обрушивается на склонных отдаться во власть порока? Нищей, нищей! Своими описаниями он равно повергает в трепет добродетельных и сокрушает погрешающих, потому мы и вправе сказать, что у него ужасный голос. Из этого, точно так же, как из всего сказанного выше, явствует, что тот, кто при жизни был пастырем, после смерти стал павлином, и что сон, приснившийся его дорогой матери, был ниспослан ей свыше.

Знаю, что я лишь поверхностно истолковал этот сон, но тому есть свои причины. Прежде всего, мне, быть может, просто не по плечу подобная задача; во-вторых, даже если бы у меня и хватило умения справиться с ней, цель этой книжки совсем иная; наконец, когда бы и умения достало, и предмет позволил, все равно я ограничился бы сказанным, дабы потом мог внести свою лепту в толкование сна и тот, кому это более по силам и по вкусу. И вот, сказав все, что мог и должен был сказать, я предоставляю договорить упущенное мною идущим мне на смену.

XXX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мой утлый челн достиг гавани, на которую взял курс, едва отчалил от берега, и хотя путешествие было недолгое, а море неглубокое и безбурное, я должен вознести благодарность тому, кто ниспослал мне спокойное плавание и попутным ветром наполнил паруса. И со всем смиренным, со всею верою, со всем пылом, которые только доступны мне, хотя знаю — они все равно недостаточны, — я во веки веков благословляю имя его и склоняюсь перед его всемогуществом.

*На этом кончается рассказ
о происхождении, жизни, трудах и обыкновениях
прославленного мужа Данте Алигьери,
знаменитого флорентийского поэта,
и о творениях, им созданных*